



СОВРЕМЕННАЯ И КЛАССИКА

Морис Дрюон

СВИДАНИЕ
В АДУ

«ИНОСТРАНКА»

Конец людей

Морис Дрюон
Свидание в аду

«Азбука-Аттикус»

1951

Дрюон М.

Свидание в аду / М. Дрюон — «Азбука-Аттикус»,
1951 — (Конец людей)

ISBN 978-5-389-10097-8

Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге «Проклятые короли», открывшей мрачные тайны Средневековья, и роману-трилогии «Конец людей», рассказывающей о закулисе современного общества, о закате династии финансистов и промышленников. Эта трилогия наиболее значительное произведение Дрюона, лауреата Гонкуровской премии. Третий роман цикла называется «Свидание в аду». О богатстве и могуществе семьи Шудлер и де ла Моннери напоминают лишь громкие титулы и стосковавшийся по ремонту родовой замок. В наследство Мари Анж и Жан Ноэлю достались не завещанные миллионы, а бремя дряхлеющего клана, бесхарактерность и малодушие. Как выдержать ад общения с любящими людьми? К тому же, по замечанию одного из героев романа, «каждый таит в себе свой собственный ад»...

ISBN 978-5-389-10097-8

© Дрюон М., 1951
© Азбука-Аттикус, 1951

Содержание

Глава I	6
Глава II	35
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Морис Дрюон

Свидание в аду

Maurice Druon

RENDEZ-VOUS AUX ENFERS

Copyright © 1968 by Maurice Druon

© Я. Лесюк, перевод, 2015

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство Иностранка®

© Серийное оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013

Издательство Иностранка®

* * *

Эта книга посвящается Дошан де Сен-Совёр

Глава I

Бал чудовищ

1

Когда на каком-нибудь празднестве ожидалось прибытие того или иного министра, полицейская префектура была обязана направлять туда блюстителей порядка во главе с офицером; вот почему во вторую половину весны не проходило и дня, чтобы у подъезда дома какого-либо академика или редактора солидной газеты, герцогини, видного адвоката или крупного банкира не располагался наряд специальной охраны, который регулировал уличное движение и выстраивал автомобили длинной цепочкой.

На каштанах, окаймлявших улицы, «догорали» последние белые свечи; на лужайках Тюильри у ног мраморных статуй и юных парочек, застывших на скамейках в страстном поцелуе, пламенели тюльпаны.

Итак, каждый вечер, между пятью и восемью часами, в узких переулках возле Лувра и на запруженной площади Оперы, позади огромных зеленых автобусов, битком набитых ехавшими с работы усталыми людьми, быстро катился поток личных автомобилей: в них, нетерпеливо ерзая на кожаных подушках, восседали сильные мира сего или люди, считавшие себя таковыми либо желавшие таковыми стать. И для любого из них каждая потерянная минута служила источником жестоких терзаний.

Весенний сезон в Париже был в самом разгаре.

Три сотни светских дам одна за другой переставляли с места на место мебель в своих гостиных и до блеска начищали столовое серебро, приглашали официантов из одних и тех же ресторанов, опустошали одни и те же цветочные магазины, заказывали у одних и тех же поставщиков одинаковые печенья и пирожные, выстраивали целые пирамиды одинаковых бутербродов из пшеничного или ржаного хлеба с одними и теми же салатами или анчоусами; после ухода гостей хозяйки неизменно обнаруживали, что их квартира выглядит так, будто в ней побывала на постое целая армия: на диванах валялись пустые бокалы и грязные тарелки, ковры были прожжены сигаретами, скатерти покрыты пятнами, на инкрустированных столиках виднелись липкие кружочки от рюмок с ликерами, а цветы, отравленные дыханием множества людей, бессильно клонили долу увядшие головки; и тогда элегантные дамы без сил опускались в кресла и неизменно произносили одну и ту же фразу:

– А в общем все прошло очень мило...

И на следующий день – либо уже в тот же вечер – они, преодолевая мнимую или действительную усталость, устремлялись на точно такие же приемы.

Ибо все те же сотни людей, составлявших цвет парламента, литературы, искусства, медицины, адвокатуры, самые могущественные финансисты и дельцы, самые примечательные из приезжих иностранцев (а они зачастую специально приезжали ради такого рода приемов и раутов), самая многообещающая и ловкая молодежь, самые богатые из богатых, самые праздные бездельники, самые сливки аристократии, самые светские завсегдатаи светских салонов встречались здесь, толклись в духоте, улыбались, обнимались, лобызались, злословили и ненавидели друг друга.

Появление новой книги, премьеры нового фильма, сотый спектакль, возвращение какого-либо путешественника, отъезд дипломата, очередной вернисаж, новый рекорд пилота – все служило поводом для подобных сборищ.

Каждую неделю какой-либо кружок с помощью прессы открывал нового «гения», ему суждено было блистать два-три месяца, после чего он угасал в удушающей атмосфере собственного успеха подобно тому, как угасает факел в собственном чаду.

Париж в ту пору демонстрировал наряды, драгоценности, украшения – все, что производила промышленность, служа искусству и моде. Воображение и вкус, равно как и деньги, без счета расходовались на туалеты, драгоценности и украшения.

Столица Франции являла собой величайшую ярмарку тщеславия, пожалуй единственную в мире! Что же побуждало этих людей устраивать у себя приемы и ходить на приемы к другим, приглашать к себе в гости и самим бывать в гостях, делать вид, будто им необычайно весело, хотя на самом деле им было смертельно скучно танцевать из учтивости с теми, кто был им неприятен, и – из ложной скромности – не танцевать с теми, кто был мил их сердцу, огорчаться, если их фамилия отсутствовала в списке приглашенных, и притворно жаловаться всякий раз, когда они получали очередное приглашение, восторгаться творениями, авторов которых они презирали, и самим сносить презрение от тех, кем они восхищались, заискивающе улыбаться лицам, которые оставались к ним равнодушными, громко заявлять о своей мизантропии, о своем стремлении бежать от шумного света и расточать в этой незамысловатой игре свое время, силы и состояние?

Дело в том, что на этой ярмарке, где всякий был одновременно и продавцом, и покупателем, где каждый что-либо предлагал и ему самому что-либо предлагали, происходил самый тонкий товарообмен на свете – его предметом были могущество и успех.

Так как успех и влияние – что бы ни говорилось обычно – не продаются: ими только обмениваются.

Самодуров по природе, людей, злоупотребляющих властью, прирожденных взяточников, мздоимцев, лизоблюдов, содержанок по призванию на свете гораздо меньше, чем принято думать.

Правила игры гораздо тоньше: тут все основано на взаимных услугах, это упорный труд «человеческих пауков», ибо каждый, желая соткать паутину, должен помогать другим заниматься тем же.

Ярмарка тщеславия была вместе с тем и ярмаркой женщин и мужчин, ибо влияние и успех лишь прокладывают путь к любви, если только они, в силу необходимости, не заменяют ее...

Представители власти, принимая, как и другие, участие в этом смотре истинных и фальшивых ценностей, сообщали ему тем самым официальный характер.

Ночью фронтоны величественных зданий освещались мощными прожекторами, придававшими архитектурным ансамблям, барельефам, колоннадам и балюстрадам нереальный феерический вид. Фонтаны на площади Согласия были окутаны светящейся водяной пылью. По лестницам театров, получавших государственные субсидии, мимо гвардейцев, стоящих по краям ступеней в белых лосинах и касках с конскими гривами, поднимались высшие сановники Республики, дабы представлять на пышных празднествах, из приличия именовавшихся благотворительными.

Сверх всего прочего в тот год должна была распахнуть свои двери Всемирная выставка – последняя в длинном ряду таких выставок, происходивших с 1867 года; выставки эти породили пять поколений павильонов, отделанных под мрамор, множество рекламной литературы и золотых медалей. Словом, тем летом в Париже ожидалось два «сезона», и к участию во втором из них предполагалось, хотя бы частично, привлечь народ – потому что время от времени это приходится делать.

2

Симон Лашом приехал на вечер к Инесс Сандоваль за несколько минут до того, как часы пробили полночь. Двенадцать дней назад он получил такое приглашение:

Графиня Сандоваль надеется видеть Вас у себя в числе близких друзей на БАЛУ ЖИВОТНЫХ (в передней Вы найдете маску, которую придумал и нарисовал специально для Вас Ане Брайа)

«Ага, – сказал себе Симон, – в это время года она охотно именует себя графиней. Оно и понятно – ведь сейчас Париж наводнен иностранцами...»

Действительно, зимой, драпируясь в изысканно простую тогу литературной славы, поэтесса на время отбрасывала свой титул.

Огромная квартира Инесс Сандоваль, расположенная, а вернее сказать, построенная над вторым этажом старинного особняка на Орлеанской набережной, своим убранством напоминала просторную каюту капитана пиратского корабля. Поэтесса любила драгоценные камни без оправы – она держала их в позолоченных дароносицах, – тяжелые старинные шелка с бахромой по краям, православные кресты, статуэтки испанских мадонн с ожерельями из потускневшего жемчуга на шеях, гитары самых причудливых форм и массивные лари эпохи Возрождения из дерева дымчатого оттенка. Расшитые золотом парчовые драпировки из двух полос заменяли двери.

В передней стояла большая вольера: ее населяли голубые попугаи, желтые канарейки, пестрые колибри, наполнявшие воздух громким щебетанием и приторным запахом перьев. Ангорские коты с густой светло-коричневой шерстью при виде входящих бесшумно убегали в коридоры, а в их золотистых глазах, казалось, можно было прочесть тайные укоры совести или просто печаль о том, что они кастрированы.

Убранство передней довершали фигуры зверей и птиц под стеклянными колпаками: попугаи из саксонского и севрского фарфора, у которых словно замер в горле крик, большие фаянсовые мопсы, сидевшие на ковриках, деревянные черепахи в настоящих панцирях, развешанные по стенам причудливые изображения тигров и ягуаров, быющие в барабан кролики, плюшевые бегемоты, каких обычно дарят детям.

Пристрастие к животным и подсказало Инесс Сандоваль идею ее бала-маскарада.

– Добрый вечер, господин министр. Тут, кажется, приготовлена маска для вашего превосходительства, – сказал Симону слуга в черном фраке.

«Откуда этот малый знает меня?» – подумал Симон. Потом он сообразил, что этот лакей раз шесть за последнюю неделю подавал ему напитки и в шести различных передних протягивал шляпу и перчатки.

На большом столе, где в начале вечера были сложены звериные маски обитателей зоологического сада, теперь оставалось лишь несколько масок; внимательно оглядев их, слуга подал министру спрута, сделанного из картона и тюля.

Симон улыбнулся своим воспоминаниям.

В дни их недолгой связи (в любовной хронике Лашома Инесс Сандоваль следовала за Мартой Бонфуа) поэтесса обычно говорила ему:

– Ты мой обожаемый спрут. Руки твои сжимают меня и увлекают в подводные глубины блаженства.

И вот – девять лет спустя – эта маска осьминога деликатно напоминала о прошлом.

«Только бы не было фотографов, – мелькнуло в голове у Симона. – Впрочем, если они появятся, то уж лучше быть в маске».

Скопище фантастических существ – полулюдей-полуживотных, вернее, полулюдей-получудовищ – походило на кошмар. «Ближних людей» набралось около двухсот, и их громкие голоса порою заглушали звуки музыки. Для бала Инесс Сандоваль ультрасовременный художник Ане Брайа видоизменил животное царство: рожденные его воображением маски населили мир фантастическими существами, он на собственный лад переделал все то, что Иегова создал в пятый день творения. Взъерошенные совы с фиолетовым оперением и золочеными клювами, гигантские мухи, чьи глаза метали латунные молнии, кролики в леопардовых шкурах, змеи с несколькими языками, на которых было написано: «французский», «английский», «немецкий», «испанский», кошки из гранатового бархата, бараны с проволочным руном, желтые ослы, изумрудные рыбы с торчащими над их головами ручными пилами или игрушечными молотками, моржи с телеграфными знаками на мордах и фарфоровыми изоляторами у висков, лошадиные черепа, майские жуки, покрытые перьями, синие амфибии и зеленые пеликаны щеголяли во фраках и в длинных вечерних платьях. Какой-то кавалер ордена Почетного легиона водрузил на себя голову розового льва, украшенную жандармскими усами. Слоновьи хоботы из гуттаперчи свисали на крахмальные манишки. Обнаженные женские руки с бриллиантовыми браслетами поднимались не для того, чтобы провести пуховкой по лицу, а для того, чтобы поправить гребешок цесарки или рыбий плавник.

Гостям явно нравился спектакль, в котором они участвовали, все забавлялись тем, что входили в роль животных, которых изображали их маски. Со всех сторон несло кудахтанье, рев, мычание, кваканье. Какой-то сиреневый боров расталкивал толпу и беззастенчиво ворошил своим «пяточком» платья на груди у женщин.

В один из салонов набилось особенно много двуногих чудовищ, и они топтались на месте, раскачиваясь под звуки оркестра. Музыканты были наряжены обезьянами; музыки почти не было слышно. И гостиная эта казалась каким-то адским котлом, где в собственном соку варились уродливые твари, вызванные к жизни кошмарным бредом больного.

Хозяйка дома переходила от одной группы гостей к другой; лицо ее было наполовину скрыто маской диковинной птицы, возле ушей покачивались два больших зеленых крыла, задевавшие всех встречных. То была невысокая женщина с обнаженными смуглыми плечами, ногти ее покрывал лак цвета запекшейся крови, зеленое платье было того же оттенка, что и крылья на голове.

Инесс Сандоваль на ходу чуть покачивала бедрами: это объяснялось тем, что ее правая нога была немного короче левой, но она сумела обратить себе на пользу даже свой физический недостаток. Поэтесса двигалась вперед, словно слегка вальсируя и как бы отбрасывая невидимый шлейф: казалось, она на каждом шагу готова сделать реверанс.

Каждой своей фразой она создавала у собеседника иллюзию, что он имеет дело с необыкновенно благородным и отзывчивым существом.

Когда ее поздравляли с на редкость удавшимся вечером, она отвечала:

– Но я тут ни при чем, абсолютно ни при чем. Все дело в таланте Брайа и в ваших дружеских чувствах.

Ане Брайа, низенький и косолапый толстяк в башмаках с задранными кверху носками, обращал на себя внимание копной спутанных волос и огненно-рыжей бородой; на нем был поразительно грязный смокинг: можно было подумать, что, перед тем как появиться в гостиной, он по рассеянности прижал к груди палитру с красками; выслушивая похвалы, он склонялся в поклоне, выпячивая при этом живот. Лицо его скрывала маска козла, которую он придерживал за деревянную ручку, – то был козел античной комедии¹; язвительная усмешка ясно говорила окружающим: «Недурно я над вами посмеялся, не правда ли?..»

¹ В Древней Греции комедией называлось представление, развившееся из песен, исполнявшихся во время карнавалов в честь бога Диониса (которого часто изображали в виде козла). В древнегреческой драме «песнь козлов»

Без сомнения, бал-маскарад обошелся очень дорого, и многие из гостей спрашивали себя, как могла Инесс Сандоваль решиться на такие расходы и каким образом Брайа, постоянно заваленный заказами и вечно сидевший без гроша, умудрился найти время, чтобы нарисовать все эти маски.

Композитор Огеран, вырядившийся тритоном («чтоб наконец дельфину мог сесть Орфей на спину...») – шепнула Инесс на ухо Симону), ухватив Лашома за лацкан фрака, украшенный орденой ленточкой, увлек его в угол и вполголоса раскрыл ему тайну.

Все объяснялось очень просто: оказывается, сказочно богатая миссис Уормс-Парнелл, гигантского роста старуха, которую Брайа превратил в этот вечер в голубку, заказала полный комплект масок для такого же маскарада, который она собиралась устроить у себя в Америке; кроме того, внезапно возникла мысль обессмертить праздник, выпустив в роскошном издании ограниченным тиражом акварели Брайа со стихотворными надписями Инесс Сандоваль: разумеется, «близким друзьям» неловко будет не подписаться на это издание, оно должно было принести двести тысяч франков чистого дохода.

Какой-то фотограф приблизился почти вплотную к композитору и министру просвещения, увлеченным пересудами, и чуть было не ослепил их. У Лашома вырвался нетерпеливый жест. И в тот же миг при яркой вспышке магния он увидел, что к нему направляется Сильвена Дюаль в маске лангусты. Нарочито небрежная походка актрисы, ее чуть вздрагивающие плечи, пальцы, которые нервно теребили медальон, усыпанный драгоценными камнями, – все говорило Симону о неизбежной семейной сцене, и он поспешил отойти от композитора.

Он взял руку Сильвены с таким видом, словно не встречался с нею в этот день, будто она не была его официальной, признанной любовницей, и машинально поднес эту руку к своей маске.

Он почувствовал, что окружающие их чудовища внимательно наблюдают за ними.

– Теперь ты не станешь отрицать, что без особого труда мог заехать за мною или, на худой конец, прислать свою машину, – проговорила Сильвена. – Я уже не в первый раз замечаю, что, когда тебя привлекает какой-либо бал, правительственные обязанности не мешают тебе освободиться раньше, чем обычно. Разумеется, ради меня не стоило опаздывать даже на пять минут на эту очаровательную танцульку, глупее которой трудно себе что-нибудь представить!

На ней было платье из переливчатой ткани цвета морской волны, усеянное блестками; оно плотно облегло бюст и бедра, сужалось к икрам и вновь расширялось у щиколоток, образуя нечто вроде рыбьего хвоста; платье это подчеркивало чувственность, присущую Сильвене и всем ее движениям.

Актриса была вне себя от ярости: во-первых, она не попала в объектив фотоаппарата и потеряла возможность красоваться на газетной полосе рядом со «своим» министром; во-вторых, в маске лангусты, выбранной для нее Инесс Сандоваль, она усматривала обидный намек; в-третьих, Симон Лашом без нее приехал на этот вечер.

С раздражением отбрасывая щупальца из тюля, болтавшиеся у него на груди, Симон ответил, что заседание кабинета министров закончилось раньше, чем предполагалось, а приехал он на этот бал исключительно из дружеских чувств.

– Вернее, потому, что десять лет назад ты спал с хозяйкой дома. Уж мне-то хорошо известно! – отрезала Сильвена. – А когда господин министр посещает своих прежних подружек, он не желает являться к ним вместе со мною, боится подчеркнуть нашу близость! До чего же ты трусливо ведешь себя в присутствии этих женщин, мой бедный Симон!.. Сегодня ты можешь быть доволен – они все тут собрались. Здесь и твоя дражайшая Марта Бонфуа, которая тебе в матери годится, здесь и...

– А у тебя, бедняжки, тут нет ни одного знакомого, никаких воспоминаний, не так ли?! – взорвался Симон. – Ты чиста и невинна, как девственница. Далеко ходить за примерами не придется, разве Вильнер не здесь? – спросил он, протянув руку в том направлении, где стоял высокий плотный человек в маске быка Аписа с золотыми рогами, в котором нетрудно было узнать прославленного драматурга. – И если бы эта, как ты выражаешься, танцулька происходила в доме кого-либо из твоих дружков, ты бы нашла ее великолепной.

Сквозь прорези масок лангуста и спрут бросали друг на друга взгляды, полные ненависти. Оба старались говорить тихо, как будто вели среди шумного веселья интимную беседу. Но их собственные голоса гулко отдавались под картонными масками, наполняли жужжанием их уши и распаляли злобу.

– Во всяком случае, я никогда не стыжусь появляться с тобою на людях, – продолжала Сильвена.

– Еще бы, тебе это только на пользу, – отпарировал Симон.

Ценою долгих и упорных усилий, нажима, интриг ему недавно удалось добиться, чтобы Сильвену приняли в труппу театра «Комеди Франсез», и он полагал, что получил право несколько недель пожить спокойно.

– Негодай! Негодай и... к тому же невежа, – прошипела Сильвена. – Ну что ж! Если так, забавляйся в свое удовольствие, мой милый, я тоже постараюсь не терять времени.

Их разговор был прерван появлением лакея, разносившего на подносе напитки.

«Она всю жизнь останется потаскушкой», – подумал Симон, удаляясь. И ему показалось, что с их связью надо непременно и поскорее покончить. Но он уже твердил себе это пять лет подряд. Еще никогда он так часто не думал о разрыве с любовницей, как во время своей связи с Сильвеной. Должна же эта мысль в один прекрасный день осуществиться!

«Если человек не решается бросить женщину, которую презирает, то, может, и сам он достоин презрения?» – вот вопрос, все чаще и чаще приходивший в голову Симону.

И он спрашивал себя, где та женщина, которая поможет ему освободиться от Сильвены. За последнее время у него было несколько мимолетных любовных приключений, о которых он умалчивал, но ни одна из этих случайных подруг не внушила ему истинного чувства.

Кто же ему когда-то сказал?.. Кажется, Жан де Ла Моннери – да-да, именно старый поэт однажды сказал ему: «Позднее вы сами убедитесь, что начиная с определенного возраста мы влюбляемся в женщину лишь потому, что хотим освободиться от другой. И с этой поры наши романы приносят нам только адские муки».

3

На костюмированных балах, особенно на балах такого рода, все очень быстро узнают друг друга, и если гостям не удастся угадать, кто скрывается под той или иной маской, значит, эти люди им не знакомы. И потому гости Инесс Сандоваль были заинтригованы внезапным появлением таинственной пары: буйволы, совы, кролики, носороги собирались в кружки, клювы наклонялись к мохнатым ушам, повсюду слышался один и тот же негромкий вопрос: «Кто это?»

Вновь прибывшие были очень молоды и, насколько можно было судить, очень хороши собой. У юноши – высокого и тонкого, казавшегося особенно стройным благодаря фраку, – были изящные белые руки, красиво выступавшие из манжет; он благородным движением поднимал к лепному потолку голову белого оленя, увенчанную длинными серебряными рогами. Девушка (а может стать, молодая женщина – об этом невозможно было судить) была в белом платье, походившем на античное одеяние; ее лицо скрывала маска черной лани. Она была великолепно сложена; ее фигура не отличалась таким изяществом, как фигура юноши, но гибкое девичье тело привлекало красивой округлостью форм.

«Эта девочка, должно быть, восхитительна», – подумал Симон, провожая взглядом парочку, направлявшуюся к Инесс Сандоваль; из любопытства он тоже подошел к поэтессе.

– Дорогой друг, пригласите потанцевать прелестную незнакомку; у нее с вами много общих воспоминаний, хотя она о том и не подозревает, – обратилась Инесс к Лашому.

– Кто же она? – шепотом спросил он.

– Нет, мой милый, – воскликнула поэтесса, – пусть она сама вам скажет, если захочет! Сегодня вечер тайн.

И она удалилась, увлекая за собою юношу в маске оленя.

Музыканты-обезьяны играли танго, и танцоры медленно двигались, покачивая своими фантастическими головами.

Рука Симона обняла талию незнакомки. Сквозь плиссированный шелк платья он ощутил гибкую, упругую спину. Он знал, что танцует плохо, но в темноте это не имело значения. Достаточно было только подчиняться движению толпы. Юный стан его партнерши, не слишком податливый, но и не сопротивлявшийся, ее грациозные движения и почти невесомая спокойная рука, доверчиво лежавшая в его руке, – все наполняло Симона удовольствием и смутным предчувствием любовного приключения.

– И все же кто вы такая? – спросил он.

Он приготовился к тому, что маска станет интриговать его, прибегнет к нехитрой игре: «Угадайте!..» – «Француженка?..» – «Нет, не француженка...» – «Замужем?» – «Тоже нет... Горячо, холодно...»

Незнакомка посмотрела на танцующих и сказала:

– Вы не находите, что это напоминает картины Иеронима Босха?

У нее был звонкий, хорошо поставленный голос.

Потом она просто прибавила:

– Я Мари-Анж Шудлер.

– Быть не может! – воскликнул Симон. – Вы – дочь Жаклин и Франсуа? О! Как это необыкновенно! Теперь я понимаю, почему Инесс...

От изумления он сбился с такта и, словно это могло помочь ему увидеть лицо девушки, машинально приподнял свою маску.

Глазные впадины спрута, зиявшие надо лбом Симона, и щупальца, сбегавшие на его манишку, придавали ему вид неведомого и злобного морского божества, внезапно всплывшего из бездонных пучин.

– Я Симон Лашом, – проговорил он.

– О да! Вы и в самом деле хорошо знали всю нашу семью, – произнесла Мари-Анж Шудлер, ничем не выказав своего удивления. Немного спустя она прибавила: – Я очень польщена, что танцую с вами, господин министр.

Симон так и не понял, была ли в этих словах вежливая ирония, или они были просто продиктованы почтительностью.

Но маску Мари-Анж так и не сняла.

– А ведь всего минуту назад, – снова заговорил Симон, – я как раз думал о вашем деде Жане де Ла Моннери... Знаете, я помню вас совсем крошкой. И вот теперь... Жизнь поистине удивительна!.. Впрочем, если разобраться, все это, в сущности, совершенно естественно и поражает только нас самих... Мари-Анж! – прошептал он, словно желая убедить себя в чем-то неправдоподобном.

И внезапно в уме Симона пронеслись воспоминания десяти-, пятнадцати- и даже семнадцатилетней давности.

В самом деле, что такое пятнадцать лет в человеческой жизни? И вдруг они обрушиваются на вас, как лавина!

– Сколько же вам теперь лет?

– Двадцать два.

– Да, конечно... – пробормотал Симон.

Итак, девочка, которую гувернантка держала за руку в день торжественных похорон поэта, шалунья в белых носочках, игравшая в саду на авеню Мессины, превратилась во взрослую девушку, в молодую женщину, чье тело волновало его своей близостью и тайной... И Симон ощутил то изумление, какое обычно испытывают люди, внезапно обнаружив, что вчерашние дети выросли, повзрослели, стали независимыми и самостоятельными.

«Девственница она еще или уже нет?» – спросил он себя. Ощущая, как естественно и непринужденно – без вызова, но и без робости – держится она, когда прикасается к нему в танце плечом, грудью или бедром, он был склонен считать, что Мари-Анж уже не девушка... Непроницаемая под своей маской, она безмолвствовала. «В сущности, я, должно быть, ей уже наскучил. Ей, вероятно, смертельно надоели люди, которые только и делают, что твердят: „Я хорошо знал вашего отца, вашу мать, вашего дедушку!“ Конечно, женщине приятней, когда интересуются ею самой. И потом, если мужчина не хочет, чтобы женщина относилась к нему как к старикашке, не следует, пожалуй, говорить ей: „Я держал вас на коленях, когда вы были еще ребенком“».

– А кто этот молодой человек, с которым вы пришли? – спросил он.

– Мой брат, Жан-Ноэль, – ответила она.

«А, теперь я все понимаю...» – подумал Симон. Он вспомнил, что на днях ему говорили, будто юный Шудлер и Инесс Сандоваль... Лашом поискал глазами обоих, но не нашел.

Почти задев Симона и Мари-Анж своими крыльями, мимо них проплыла в танце огромная бабочка.

– Вы никогда не думали, – спросила девушка, – о том, что некоторые бабочки, живущие всего двое суток, рождаются в пору ненастья? Всю их короткую жизнь льет дождь, и они не представляют себе, что мир может быть иным.

Она проговорила это без аффектации, тем же ровным тоном, каким отвечала на его вопросы.

Симон терялся в догадках: что могла означать эта фраза?

– Ваши слова звучат как стихи Инесс Сандоваль, – заметил он.

– Да?.. Очень жаль, – вырвалось у девушки.

– Почему? Разве вы ее не любите?

– Нет, отчего же. – Ответ Мари-Анж прозвучал так же бесстрастно и холодно, как и все, что она говорила.

Картины Босха... Бабочки, рождающиеся в пору ненастья... Эта девушка поразила воображение Лашома, ее непросто было понять... А быть может, она кажется столь непроницаемой лишь в силу своей молодости.

– Не хотите ли выпить бокал шампанского? – предложил он.

Он жаждал расспросить Мари-Анж, узнать, как она живет, чем занимается, помолвлена ли она...

Узнать ему удалось лишь одно: она работает в салоне мод.

4

Тем временем Инесс Сандоваль увлекла Жан-Ноэля Шудлера в переднюю, к вольере. Звуки оркестра и шум голосов звучали здесь приглушенно, смягченные парчовой портьерой. Попугаи устало хлопали веками и жались друг к другу.

В своей зеленой маске Инесс Сандоваль походила на огромную хищную птицу.

– Почему ты пришел так поздно, милый? – спросила она.

– Из-за бабушки. Это конец. Мы даже боялись, что совсем не сможем прийти, – ответил Жан-Ноэль. – Надеюсь, этой ночью она не умрет.

– Ах, мой бедный мальчик, как это ужасно... Ты очень любишь свою бабушку?

– Нет... – вырвалось у юноши.

И оба рассмеялись, покачивая своими картонными масками.

– Я впервые вижу тебя во фраке, мой прелестный юный олень, – сказала Инесс Сандоваль.

Она взяла его за плечи и легонько повернула, чтобы осмотреть со всех сторон.

«Неужели заметно, что фрак сшит не на меня?» – с тревогой думал Жан-Ноэль. У него не было денег, чтобы заказать себе новый фрак у портного. И он пришел на бал во фраке, перешитом из фрака его бывшего отчима Габриэля Де Вооса, который обнаружили почти новым и не тронутым молюю в одном из шкафов.

Жан-Ноэль был в том возрасте, когда люди еще не умеют смеяться над денежными затруднениями и уверенность человека в себе находится в прямой зависимости от его внешности и костюма. Юноша чувствовал себя в этом перешитом фраке так неловко, будто взял его напрокат.

«Ну, после смерти бабушки все это немного переменится», – подумал он.

– Ты поистине красив, необыкновенно красив, мой ангел, – прошептала Инесс.

Она приподняла маску и, слегка припадая на ногу, остановилась перед зеркалом, чтобы взглянуть, не стерся ли грим на ее лице.

У нее были большие черные глаза – в них, как в горных озерах, порою пробегали фиолетовые огоньки, густые, очень темные волосы, которые она укладывала так, чтобы они слегка ниспадали на шею, смуглая матовая кожа, ровные мелкие зубы. Но все это уже как-то потускнело.

Таинственные жизненные соки, придающие коже шелковистость и мягкость, а волосам блеск и пышность, уже начинали, видимо, у нее иссякать; на лбу обозначились три тонкие морщинки; эмаль зубов еще не потемнела, но уже потеряла свой ослепительный блеск, а взгляд то горел лихорадочным огнем, то поражал безжизненной вялостью: вспышки молний внезапно уступали место выражению равнодушия и усталости.

Инесс вступила в ту пору жизни, когда физическая привлекательность человека постепенно угасает. Правда, поэтессе было уже сильно за сорок, и многие женщины полагали, что жаловаться ей не на что.

Жан-Ноэлю, который ни на кого больше не смотрел, никого и ничего не замечал, Инесс казалась божеством. Ему только что исполнился двадцать один год. Она была для него не первым любовным приключением, а первой настоящей любовью. Некий ореол, видимый лишь ему одному, точно нимб, окружал в его глазах голову Инесс.

Он знал о ней лишь то, что она сама пожелала ему открыть, – историю ее замужеств и вдовства – и поэтому считал ее женщиной, которая много страдала (это, кстати, было правдой), и она сумела внушить ему, что его любовь послана ей в утешение за прошлые муки.

Жан-Ноэль с радостью терял целые дни ради двух часов, которые она уделяла ему (или требовала, чтобы он уделял ей), – беспорядочная жизнь поэтессы не оставляла им больше времени!

Он знал, что в свое время из-за нее покончил с собой какой-то молодой писатель. А ведь еще она перенесла и смерть двух мужей, и потерю ребенка.

Но Жан-Ноэль знал далеко не все – не знал он, в частности, что за Инесс Сандоваль укрепилась репутация женщины, приносящей несчастье.

Он взял ее маленькую, сухую и смуглую кисть и крепко сжал в своих белых руках.

– Я люблю тебя, Инесс, – чуть слышно произнес он.

– Да, радость моя, ты должен любить меня, любить бесконечно. Я так нуждаюсь в этом, чтобы жить... – ответила она. – А теперь пойдем... Неудобно надолго оставлять гостей одних.

5

Наступил час, когда утомленные гости начали снимать маски. Одни поднимали их на лоб, наподобие древних шлемов, другие обмахивались ими, третьи забавлялись тем, что обменивались масками и гляделись в зеркала. Те, кто заехал «только на минутку», собирались покинуть бал.

Инесс Сандоваль увидела высокого человека лет шестидесяти, с худой и гибкой фигурой, в клетчатых брюках, белых носках и узких лакированных туфлях; в руке он со смущенным видом держал голову легендарного единорога.

– Pim, you are not going, I hope!² – воскликнула Инесс. И, указав рукой на Жан-Ноэля, она прибавила: – I'd like to introduce you le baron Schoudler... Lord Peemrose... Jean-Noel Schoudler is the great-son of a famous French poet...³ Но почему вдруг я говорю по-английски? – прибавила она, смеясь. – Ведь лорд Пимроуз превосходно владеет французским языком.

– Да, я немного изъясняюсь по-французски, – в свою очередь улыбаясь, проговорил почти без всякого акцента лорд Пимроуз.

Жан-Ноэль машинально снял маску – он сделал это из учтивости, как снимают при знакомстве шляпу.

Его лицо сияло необычной белизной, зато синие глаза сверкали темным огнем; волосы, блестящие, как свежая солома, вились мелкими кольцами вокруг ушей; щеки, подпертые высоким крахмальным воротничком, еще сохраняли детскую припухлость.

При виде этого светлого лица, поражавшего своей юношеской красотой, выцветшие глаза лорда Пимроуза, прикрытые морщинистыми веками, на миг заматались, словно напуганные ослепительным светом; казалось, англичанин ищет вокруг что-нибудь менее яркое, на чем его взгляд мог бы отдохнуть.

В эту минуту двое пожилых мужчин, беседовавших на балконе в нескольких шагах от них, разом повернули головы. То были академик Эмиль Лартуа и драматург Эдуард Вильнер. Оба тоже сняли маски; впрочем, внешность Вильнера от этого мало изменилась.

– Всякий раз, когда наша дорогая Инесс произносит «барон Шудлер», – проговорил академик Лартуа, – мне кажется, что передо мной сейчас возникнет наш старый друг Ноэль, гигант с черными глазами и козлиной бородкой. А вместо него появляется этот белокурый юноша – суций Ариэль.

Он криво усмехнулся и прикусил губу. Вильнер и Лартуа, правда в разное время, были любовниками поэтессы. Они входили в число тех, кого в обществе именовали «старыми фондовыми ценностями» салона Инесс Сандоваль.

– Она меняет стиль, наша милая Инесс, – продолжал Лартуа. – Заклинательница змей становится воспитательницей птенцов.

– Это наша смена, дорогой друг, – заговорил драматург низким голосом, наклонив свою голову Минотавра. – Мальчишки учатся у наших любовниц тому, чему те сами научились в наших постелях. Именно так и передается любовная наука от поколения к поколению с тех пор, как стоит мир. И в один прекрасный день они просветят своих подружек, которых мы уже не увидим, научат их тем ласкам, какие мы в простоте душевной считали своими открытиями. Мы же к тому времени обратимся в прах...

Он втянул воздух огромными ноздрями и прибавил:

– Сколько вам сейчас лет, Эмиль?

² Пим, надеюсь, вы не уходите! (англ.)

³ Разрешите представить вам барона Шудлера... Лорд Пимроуз... Жан-Ноэль Шудлер – внук знаменитого французского поэта (англ.).

– Семьдесят четыре, – ответил прославленный врач. – Я не чувствую бремени годов, но они, как говорится, при мне.

Волосы у Лартуа совершенно побелели. Но он сохранял еще свежесть кожи, звучный, чуть свистящий голос и держался по-прежнему прямо. Только руки и веки у него высохли.

– А мне через четыре дня стукнет семьдесят шесть, да-да, – проронил Вильнер, скривив большущий рот. – Скоро конец...

Он был задумчив и величествен, но когда говорил, слышалось его хриплое дыхание: казалось, воздух с шумом вырывается из поврежденной трубы органа.

– О, разумеется, я еще способен внушать любовь, – продолжал он. – И меня любят, любят создания весьма изысканные... Я по-прежнему могу сделать женщину счастливой. Как и вы, впрочем, не правда ли, Эмиль? Ведь вы тоже продолжаете удивлять своего врача? – прибавил он, подмигнув. – Мы с вами – старые чудища, сохранившиеся, как в спирту, благодаря нашей славе...

И Вильнер, повернув голову, бросил взгляд на ночную картину города, который вот уже полвека курил ему фимиам и окружал любовью, города, откуда он черпал ощущение собственного могущества и сюжеты для своих произведений.

Воздух был напоен благоуханием, небо усеяно звездами.

Дома сбегали уступами, светясь множеством окон. Неясная розовая дымка – обманчивая заря столиц, рожденная сотнями тысяч огней, – мягко окутывала крыши. Время от времени резкий луч автомобильных фар прорывал эту дымку, вонзая в темное небо ослепительный клинок, и тут же угасал.

Звуки музыки придавали ночному пейзажу какое-то сказочное очарование.

Высокие вязы, растущие на краю острова Сен-Луи, чуть покачивались, как корабельные мачты. Массивные арки собора Парижской Богоматери казались в темноте подводной частью гигантского корабля.

Внизу, под балконом, черной вереницей выстроились автомобили гостей. Шоферы, опершись о гранитный парапет, смотрели на темную поверхность реки; порою один из них швырял в воду окурок сигареты, и тот, описав в воздухе огненную дугу, с шипением гаснул, едва коснувшись воды.

– Но наступает такой час, – снова заговорил Эдуард Вильнер, – когда нашей единственной настоящей возлюбленной становится сама жизнь. Все это – и звезды, по поводу которых влюбленные парочки во все времена говорят одни и те же глупости; и листва деревьев; и камни, которые лежали тут, когда мы впервые открыли глаза, и по-прежнему будут лежать, когда мы навеки смежим очи; и комедия человеческого существования, этот бессмысленный, но чарующий нас балет, где мы все участвуем, всякий раз повторяя с новым волнением все ту же извечную пляску; это ощущение собственного «я», самого важного для нас в целом мире, присущая нам одним манера наклонять голову, полировать ногти, держать перо, проводить рукой по шелковой ткани или по женскому телу – все то, чего после нашей смерти не сыщешь ни в ком...

Лартуа, слушая собеседника, пристально смотрел на него и спрашивал себя: «Зачем он говорит мне все это? Может, у него возникло желание вступить в Академию? Или он проверяет на мне тираду из своей будущей пьесы? А может быть, и в самом деле чувствует приближение конца?»

– И пусть мы даже любили эту жизнь всеми фибрами своей души, властвовали над нею, познали все ее стороны, ежеминутно смотрели ей в глаза, проникали во все ее поры, – в тот день, когда эта негодяйка покинет нас, нам покажется, что мы так ничего в ней и не поняли. А она, – закончил Вильнер, указав своей большой дряблой рукой в сторону Жан-Ноэля, – она поселится вот у такого ветрогона, который будет понимать ее еще меньше, чем мы, и еще хуже, еще бездарнее станет ею пользоваться.

И во взгляде, который он бросил на юношу, сквозило смешанное выражение зависти и гнева, подобное тому, какое загорается в глазах бедняков, стоящих перед роскошной витриной.

Потом, без всякого перехода, драматург сказал:

– Вот, например, его сестра, эта маленькая лань, кажется мне очаровательной. Прелестная крошка: грациозная, деликатная... Надо бы с ней потанцевать.

– Вы еще танцуете? – удивился Лартуа.

– Мне нравятся эти мимолетные касания, – ответил Вильнер, отходя.

Возле окна лорд Пимроуз беседовал с Жан-Ноэлем, украдкой наблюдая за юношей. Он отметил про себя изящную форму его маленьких ушей, чуть удлинённый овал подбородка, тонкий прямой нос, красиво изогнутую линию рта. И каждый раз, когда их взгляды встречались, англичанин на мгновение терял нить разговора.

Жан-Ноэль испытывал в обществе лорда Пимроуза странное ощущение: это была не робость или неловкость, а какая-то смутная и довольно приятная неуверенность. Весь облик Пимроуза – его естественная элегантность, гибкая фигура, небрежно повязанный черный галстук, своеобразная манера отбрасывать падающую на лоб волнистую прядь волос или, разговаривая, прикладывать два пальца к виску – нравился Жан-Ноэлю и занимал его. Ему льстило, с каким вниманием лорд Пимроуз беседовал с ним.

Старый англичанин говорил, что он любит Париж и людей, которых здесь можно встретить. Да, без Парижа просто невозможно жить. Вот почему часть года он проводит во Франции, а другую – в Италии. Как?.. Жан-Ноэль не видел Италии? О, какая огромная радость ожидает его впереди! Он непременно должен побывать в Италии... *You must, you must!*⁴

– Если вы когда-нибудь попадете в Венецию или на остров Капри и я буду в это время там, – проговорил лорд Пимроуз, – непременно известите меня. Я всегда с большим удовольствием показываю любезные моему сердцу места любезным моему сердцу людям.

Он слегка наклонил голову и улыбнулся.

К ним подошла какая-то худая женщина, с довольно стройной фигурой, но с костлявыми руками, украшенными многочисленными кольцами, с глубокими впадинами у ключиц, в ожерелье из четырех рядов жемчуга на тощей шее. Из-под маски пантеры, закрывавшей ее лицо, донесся иронический голос:

– Бэзил! *Caro! Tu sei incorreggibile*⁵.

Лорд Пимроуз вздрогнул от неожиданности, но, узнав голос, впадины у ключиц и ожерелье, воскликнул:

– О, Лидия!.. *How are you, my dear?*⁶

Он представил Жан-Ноэлю даму в маске пантеры, которая оказалась герцогиней де Сальвимонте.

– Дорогой друг, – вновь обратилась она к Пимроузу. – Грешно отвлекать от танцев таких красивых молодых людей. Ведь в их возрасте так естественно танцевать!.. Надеюсь, вы танцуете? – обратилась она к Жан-Ноэлю.

Она говорила со славянским акцентом, на каком бы языке ни изъяснялась, и это придавало ее речи необычные интонации.

Жан-Ноэль поклонился и пробормотал что-то похожее на приглашение.

– В таком случае не станем медлить, – проговорила герцогиня, подавая юноше руку.

– *Anche tu sei incorreggibile!*⁷ – едва слышно произнес лорд Пимроуз.

⁴ Вы должны, вы должны (*англ.*).

⁵ Дорогой! Ты не исправим (*ит.*).

⁶ Как поживаешь, моя дорогая? (*англ.*)

⁷ Ты тоже не исправима (*ит.*).

Танцуя с герцогиней, Жан-Ноэль не мог избавиться от ощущения, что держит в руках вязанку хвороста, но хвороста, пожираемого огнем. Сквозь прорези в маске его сверлили сверкающие глаза. Он толком не знал, о чем говорить со своей дамой.

– Лорд Пимпроуз, кажется, обаятельный человек, – сказал он наконец.

– Бэзил? *Un tesoro*⁸. Он мой старый друг, и я обожаю его, – ответила герцогиня.

– А чем он занимается?

– Чем он занимается, милый мальчик? Он очень богат и тратит свое состояние, вот и все. Кроме того, он написал какую-то книгу о мистике, в которой, должна признаться, я ничего не понимаю. Ведь для меня не существует божественной любви, ангельской любви, любви, которая происходит на небесах. Я ведь язычница. Мое единственное божество – любовь земная, творимая на земле людьми...

В это мгновение шнурок на ее маске развязался, и Жан-Ноэль вздрогнул, увидев лицо своей дамы. Она оказалась куда старше, чем он предполагал. Ей наверняка было лет семьдесят. Но это была не просто старая женщина, а странная, напористая, приводившая его в замешательство старуха.

Несколько лет назад, когда пластическая хирургия только еще делала первые робкие шаги, герцогине подтянули кожу на лице. От одного уха к другому под нижней челюстью у нее шла полоска тонкой, нездоровой желтоватой кожи, напоминавшая шрам от ожога. Однако нож хирурга не коснулся ни ее век, ни рта, ни глубоких складок на шее. И казалось, что ее лицо покрывает маска – маска обманчивой молодости, прикрепленная полосками липкого пластыря, – она начиналась на лбу, возле коротко стриженных волос цвета красного дерева, и заканчивалась над верхним рядом жемчугов ее ожерелья.

– Он, разумеется, уже пригласил вас в Италию? – спросила герцогиня. – Сама я не знаю, поеду ли туда до наступления зимы. Мне еще надо побывать в стольких странах. А к тому же я не в силах усидеть на одном месте больше двух недель и решаю, куда ехать, в самую последнюю минуту. Я всегда жду непредвиденного... Одно только непредвиденное и придает пряный вкус жизни, вы согласны со мной?..

Но Жан-Ноэль не слушал ее. Он смотрел на Инесс Сандоваль – та прощалась с группой гостей, собиравшихся уходить, – и думал о ласках, которые дарила ему еще днем эта тонкая смуглая рука, к которой с таким почтением склонялись иностранные послы, управляющий Французским банком и другие сильные мира сего; это наполняло его радостью и какой-то мальчишеской гордостью. Герцогиня де Сальвимонте, заметив, куда смотрит ее кавалер, прищурила глаза и прошептала:

– Она прелестна, наша Инесс! Просто небесное создание! У нее нога едва касается земли.

Тем временем Сильвена Дюаль с показным самозабвением, рассчитанным на то, чтобы вывести из себя Симона Лашома, танцевала танго в объятиях секретаря перуанского посольства.

Лашом, перекинувшись несколькими словами с Мартой Бонфуа, упорно разыскивал юную лань, хотя и корил себя: «В моем возрасте ведь это смешно, черт побери...» Он обнаружил, что Мари-Анж танцует с Вильнером, и без труда угадал слова, которые старый драматург нашептывал девушке.

И почти тотчас же Симон увидел другую пару – старая герцогиня хищно вцепилась в Жан-Ноэля.

Лартуа, стоявший поблизости и также наблюдавший за танцующими, сказал ему:

– Я уверен, что мы думаем об одном и том же, дорогой Симон. Так и хочется крикнуть двум этим детям: «Уходите, бегите отсюда! Бегите от этих людей, которые в три, а то и в четыре раза старше вас; они жаждут выпить всю вашу кровь, все жизненные соки, извлечь их так же,

⁸ Сокровище (*ит.*).

как извлекают смолу из стволов молодых елей! Бегите от этих циничных жрецов разврата, всяческих пороков, лжи, от этих людей, постоянно ищущих новые жертвы. Бегите от этих эротоманов, бегите от тлетворных созданий, подобных Инесс... Перестаньте кружиться в пляске со смертью. Бегите от нас», ибо все находящиеся здесь мужчины – вы, я, они – жаждут обладать этой девушкой. А все женщины старше сорока лет воздевают юного Шудлера, впрочем, как и некоторые мужчины... Все мы отмечены печатью низменных страстей.

– Какой необъяснимый прилив добродетели, – заметил Лашом. – Это так мало походит на наши мысли и чувства.

– Мы бы испытывали иные чувства, будь у нас дети, – возразил Лартуа, – а ведь мы говорим о внуках наших друзей, наших старых друзей... Правда, подобные чувства более естественны для меня, чем для вас, ведь вы моложе на тридцать лет.

– Но я почти на столько же старше их. И четверть века, отделяющая меня от них, – куда более непреодолимый барьер, чем та четверть века, что отделяет меня от вас.

Усталые музыканты разрешили себе короткую передышку, и танцы прервались. К Жан-Ноэлю подошел лакей и сообщил, что его зовут к телефону.

Немного погодя юноша возвратился, на лице его лежало выражение хмурой озабоченности; он направился к сестре и шепнул ей на ухо:

– Бабушка...

Оба направились к выходу.

6

До последних дней своей жизни госпожа де Ла Моннери продолжала играть в бридж.

Когда она уже не могла подниматься с постели, ее обычные партнеры – кузина де Лобрийер, чье поросшее волосами лицо напоминало засушенное растение, другая старуха, исполинского роста, с грудью, свисавшей до пояса, и, наконец, бывший докладчик Государственного совета, двойной подбородок которого выпирал из просторного накрахмаленного воротничка, – рассаживались у самого ее ложа.

В этой компании играли по четверть сантима, обращались друг к другу то со старомодной учтивостью, то с неожиданной фамильярностью, постоянно повторяли одни и те же остроты и именовали свои ежедневные сборища «нашим большим турниром».

Все партнеры давно овдовели, их уже никто не приглашал в гости и никто не навещал. Безрадостное долголетие стало для них темницей, и бридж – последняя доступная им страсть – объединял их не менее прочно, чем узы сильной любви. Они так часто виделись, что порою почти проникались ненавистью друг к другу, и все же не видеться не могли.

Волей-неволей им приходилось проявлять друг к другу терпимость, сносить уродство партнеров, их мании и недуги, хотя каждый считал про себя, что делает великую милость, прощая слабости остальным.

Каждые полчаса бывший докладчик Государственного совета был вынужден выходить из комнаты, а если порою ему случалось, увлекшись игрою, задержаться дольше, то под ним промокало кресло. Иногда он сам этого не замечал, но бывало и так, что он испытывал нечто похожее на злорадство: ему казалось тогда, что он пользуется последней привилегией паши, находящегося в обществе трех одряхлевших женщин, которых он именовал своим «гаремом». Дамы делали вид, будто не замечают его недуга, и ограничивались тем, что, меняя места во время игры, старательно обходили стул, на котором перед тем сидел их незадачливый партнер, так что к концу партии вокруг стола оказывалось в два раза больше стульев, нежели игроков.

Госпожа де Ла Моннери совсем оглохла, зачастую даже не могла понять, что ей говорят партнеры, и тогда приходилось прибегать к помощи карандаша и бумаги. Во время игры она

настолько слабела, что под конец уже не могла держать в руках карты – за нее это делала горничная.

День за днем участники «большого турнира» наблюдали, как она угасает. Порою им начинало казаться, что они играют в бридж с покойницей, а ведь умирающая была не намного старше их. И каждый вечер, уходя семенящей походкой из особняка на улице Любек, они горестно покачивали головами и бормотали: «Бедняжка Жюльетт...» – и неизменно спрашивали себя, не суждено ли только что окончившейся партии стать для нее последней.

Госпожа де Ла Моннери умирала от чахотки. Болезнь эта, поражающая людей двух возрастов – юных и старых, – обосновалась в ее изношенных легких. Старая дама почти ничего не ела и совсем не спала.

В лежачем положении она задыхалась.

Сидя на резиновом круге, обложенная шестью подушками, поддерживаемыми со всех сторон ее высохшее тело, она проводила в полузабытьи все ночи напролет, и перед ее глазами во мраке непрестанно возникали различные карточные комбинации.

И вот, в этот последний вечер, придя в себя после почти двенадцати часов забытья, госпожа де Ла Моннери внезапно вспомнила о том, что ей надлежит безотлагательно выполнить важную обязанность, без чего она не может спокойно умереть. Страх, что она не успеет совершить этот акт, охватил больную с такой силой, что она поняла: конец ее близок.

К ней снова вернулся властный тон, который был так характерен для нее всю жизнь, и она потребовала, чтобы послали за священником и позвали внуков.

– Священник был у вас нынче утром, – сказала ей горничная, отчетливо выговаривая слова над самым ухом умирающей.

Госпожа де Ла Моннери шире открыла глаза.

– Хорошо! – с трудом проговорила она. – Тогда позовите ко мне внуков.

Она подумала: «Я ничего не сказала об этом священнику. Правильно ли я поступила? Конечно правильно, ведь речь идет не о моих собственных грехах...»

И она вновь впала в забытье; в ее затуманенном лихорадкой сознании причудливо смешивалось все – бридж, взятки в пиках, предстоящий суд Всевышнего и драмы давних лет.

Жан-Ноэль и Мари-Анж вошли медленным осторожным шагом, как обычно входят в комнату умирающего. Госпожа де Ла Моннери не двигалась. Сиделка-монахиня слегка кивнула головой, что означало: «Нет, она не чувствует себя хуже... Просто она отдыхает».

Лампа у изголовья больной едва освещала комнату, обставленную мебелью в стиле Людовика XVI. Столик для игры в бридж, с фишками и двумя колодами карт, был отодвинут в угол. На другом столе, в глубине комнаты, можно было разглядеть облупившиеся пыльные баночки с краской и разноцветную бумагу, из которой госпожа де Ла Моннери некогда изготовляла платья для своих фигурок из хлебного мякиша. Она уже много лет назад забросила свое излюбленное занятие, но до конца жизни так и не решилась расстаться с его атрибутами.

Несколько минут молодые люди молча смотрели на умирающую. Она сидела в постели, опершись на подушки; плечи ее, хрупкие, как у ребенка, резко обозначались под измятой ночной рубашкой; глаза были закрыты, дыхание со свистом вырывалось из полуоткрытого рта. Седые, но еще густые волосы над сморщенным, исхудалым, слегка синюшным лицом походили на широкую шляпу.

Жан-Ноэль и Мари-Анж испытывали тягостное чувство, какое инстинктивно испытывает человек перед лицом смерти. Но тщетно они говорили себе: «Ну вот, бабушка умирает... Наша бабушка...» Тщетно они заставляли себя думать, что эта высохшая, с трудом дышащая старуха дала когда-то жизнь их матери, а та в свою очередь родила их самих, – настоящего горя они не испытывали. Казалось, какой-то прозрачный и вместе с тем непроницаемый экран отделял их от умирающей, которая уже не походила на образ бабушки, сохранившийся в их детских воспоминаниях.

Госпожа де Ла Моннери приподняла веки и заметила внуков. Сколько времени они уже находятся здесь? Может, только что вошли?

Они возникли у изножья ее кровати, как чудесное видение, – Мари-Анж в белом платье, Жан-Ноэль в черном фраке. Сквозь застилавший глаза предсмертный туман они показались ей принцессой и принцем, осиянными счастьем.

– Это мои внуки... это мои внуки, – прошептала умирающая. – Вы приехали с бала?

– Да, бабушка, – ответила Мари-Анж.

Девушка заставила себя подойти ближе и поцеловать старуху, подумав при этом (и упрекнув себя за такую мысль): «Завтра мне, должно быть, уже не надо будет скрывать от нее, что я делала в течение дня».

Старая дама остановила ее едва заметным движением руки.

– Нет, нет, не надо целовать меня, я очень больна, вы можете заразиться.

Потом она повторила:

– Вы приехали с бала...

То были ее внуки, и тем не менее они казались ей такими же далекими, какой она сама казалась им, – удивительно далекими, словно они жили в другую эпоху. Тот же экран, та же полупрозрачная стена разделяла их. Они походили сейчас на ее отца и мать, когда те были еще молоды и собирались в гости; они походили на нее самое и ее мужа Жана де Ла Моннери, когда оба, будучи молодоженами, смотрелись в зеркало перед тем, как ехать на званый вечер; они походили на ее дочь Жаклин и на зятя Франсуа... Они казались олицетворением юности – юности, которой нет конца, которая всегда прекрасна и всегда танцует, юности, которая существует вечно и всегда неизменна.

– Почему вы не на балу? – проговорила госпожа де Ла Моннери.

Жан-Ноэль взглянул на сестру.

– Но ведь вы прислали за нами, бабушка, – ответил он.

Госпожа де Ла Моннери не услышала этих слов, но она уже вышла из оцепенения.

Ее взгляд оживился.

– Вы здесь, это хорошо, – сказала она. – Мне надо с вами поговорить.

Ею снова овладела неотвязная мысль о том, что она должна открыть им тайну. Она чуть пошевелилась, почувствовав при этом ноющую боль в спине, повела рукой и повернула голову к сиделке.

– Выйдите на минуту, – приказала она.

Голос ее был очень слаб, но, как и прежде, звучал властно.

Монахиня вышла.

Госпожа де Ла Моннери еще несколько секунд молча смотрела на внуков, спрашивая себя, произошло ли на самом деле то, что она собиралась им открыть: внезапно умирающей почудилось, будто все это ей только привиделось.

– Так вот, я должна рассказать вам о двух вещах, – произнесла она наконец. – О первой из них известно многим, но от вас ее скрывали. Дело в том, что ваш отец покончил с собой... Да-да, а вам говорили, что с ним произошел несчастный случай. Он сам выстрелил себе в голову...

Жан-Ноэль сначала не понял, чья рука легла на его затылок. Оказывается, он сам поднес руку к голове.

– О второй не знает никто, кроме доезжачего Лавердюра и меня... – продолжала умирающая.

В воздухе резко пахло лекарствами. По крайней мере, это было единственное ощущение, которое воспринимали в ту минуту Жан-Ноэль и Мари-Анж.

– Вторая вещь, – повторила госпожа де Ла Моннери, – о которой я хотела вам рассказать, – это то, что ваша мать была убита своим вторым мужем... вашим бывшим отчимом...

Де Воосом... Он был пьян и приревновал ее... тропическая лихорадка. Лавердюр вел себя безупречно. Он помог нам избежать скандала. Всегда сохраняйте к нему признательность... Я хотела предупредить вас на тот случай, если когда-нибудь этот негодяй Де Воос вздумает вновь появиться... Теперь вы знаете все. Я хранила эти тайны до тех пор, пока было возможно... Не говорите о них никогда... никому. Это семейные тайны.

Молодые люди больше не ощущали запаха лекарств. Витавшая в комнате смерть, казалось, роковым образом разрядила атмосферу.

Брат и сестра взглянули друг на друга, и каждый поразился тому, насколько другой был бледен. И все же они не испытывали страдания. Тонкие крылья носа Мари-Анж казались совсем прозрачными.

«Как бы ей не стало дурно...» – подумал Жан-Ноэль. Протянув руку, он сжал запястье сестры. Им немедленно захотелось задать умирающей несколько вопросов, но они не решались.

Госпоже де Ла Моннери эти признания не принесли облегчения, на которое она рассчитывала. Напротив, ощущение тяжести еще усилилось, словно только что перенесенное напряжение окончательно истощило ее силы. Но теперь уже не бремя тайны вызвало в ней эту мучительную тоску: ей предстояло примириться с мыслью о смерти.

«Раз уж это должно произойти, раз уж это вот-вот свершится... Господи, помоги мне удержаться от крика», – мысленно молила она.

И молодые люди отчетливо слышали ее шепот:

– Господи, помоги мне умереть достойно.

Ужас, подобно черной завесе, окутывал ее душу.

– Ступайте, родные, теперь уходите, – с трудом вымолвила она. – Да благословит вас Бог! Мы все встретимся там, на небесах.

Неодолимая дрожь сотрясала ее тело.

– По крайней мере, прежде чем навеки закрыться, мои глаза насладились вашими прелестными лицами, – прошептала она еще. – Ступайте же, прошу вас.

– Доброй ночи, бабушка, спите спокойно, – торжественно произнес Жан-Ноэль, сознавая, что эта ночь станет для нее вечной.

Умиравшая снова жестом попросила их уйти. Она хотела скрыть свою смерть, как нечто постыдное, подобно тому как всю жизнь скрывала от других отправления своего организма.

Жан-Ноэль и Мари-Анж послушно направились к двери.

Они ни разу не обернулись. Госпоже де Ла Моннери было суждено в последний раз запечатлеть их образ вот так, со спины, – увидеть прекрасные обнаженные плечи Мари-Анж и изящный, покрытый светлыми волосами затылок Жан-Ноэля. Они медленно уходили в будущее. Умиравшая не слышала, как захлопнулась дверь, та самая дверь, через которую на протяжении всей ее жизни входили и выходили и она сама, и все ее близкие. Она смежила веки, твердо решив не видеть больше ни одного лица в здешнем мире и только терпеливо ждать, когда же окончится охвативший ее смертельный ужас.

7

Партнеры по «большому турниру» ожидали в гостиной нижнего этажа. Они напоминали трех дряхлых животных, затерявшихся, как в лесу, среди старинных кресел. В тот день им не удалось сыграть обычную партию в бридж. Но они оставались в доме, точно члены семьи, и мысленно оправдывали свое присутствие туманными доводами... «А вдруг бедная Жюльетт захочет нас повидать... А вдруг мы для чего-нибудь понадобится...» Каждые двадцать минут бывший докладчик Государственного совета незаметно выходил из комнаты.

Изабелла Меньер, племянница госпожи де Ла Моннери, не знала, как от них избавиться. Эта невысокая коренастая женщина с серебристыми нитями седины на висках озабоченно

ходила по комнате, то и дело снимая и надевая очки, и время от времени предлагала старикам оранжад.

«Тетя Изабелла», как ее называли Жан-Ноэль и Мари-Анж, к пятидесяти годам располнела, несмотря на строгий режим и диету. Эластичный пояс, сжимавший ее бедра, каждую минуту грозил лопнуть; платье туго обтягивало грудь. Наступивший климакс усилил всегда присущую ей болезненную нерешительность. В эти минуты она думала о том, что предстоит разослать извещения о похоронах, и жалела об отсутствии госпожи Полан, которая в свое время была просто незаменима в дни траура; Изабелле и в голову не приходило, что теперь она уже сама играет роль «милрой Полан» и что, в сущности, ей ничего больше не остается в жизни.

Жан-Ноэль и Мари-Анж вошли в гостиную. Все повернулись в их сторону.

– Ну как? – спросила вполголоса старая виконтесса де Лобрийер.

Жан-Ноэль слегка пожал плечами, развел тонкими белыми руками и ничего не ответил. Мари-Анж машинально сдирала бесцветный лак с ногтя большого пальца и не сводила глаз с брата.

Трое стариков обменялись взглядами, словно говоря друг другу: «Бедные дети, они так потрясены. Какой это для них ужасный удар!»

– Не хотите ли выпить немного оранжада или чего-нибудь поесть? – спросила Изабелла.

– Нет, спасибо, тетя Изабелла, – ответила Мари-Анж. – Я, во всяком случае, не хочу.

Жан-Ноэль только отрицательно покачал головой.

«Наш отец покончил с собой... Нашу мать убили... – повторяли про себя брат и сестра. – А мы столько лет жили, даже не подозревая об этом».

Оказывается, мало того, что они разорены, мало того, что они круглые сироты, судьбе захотелось еще, чтобы в их семье разразились драмы, которые, как они думали, происходят только в чужих семьях, только с другими, незнакомыми людьми... У обоих было такое ощущение, будто кто-то рассказал им, что род их поражен ужасной наследственной болезнью.

В их головах, причудливо перемешиваясь, теснились воспоминания... далекие-далекие воспоминания, связанные с похоронами отца и с угрюмым молчанием, воцарившимся в особняке на авеню Мессины... «Почему папа умер, мисс Мэйбл?...» – «Несчастный случай, ужасный случай, милые дети. Вы должны быть очень благоразумными и вести себя хорошо. У взрослых столько горя и забот...» Потом возникло более близкое воспоминание о рождественских каникулах, которые они проводили в горах с тетей Изабеллой, и о том, как внезапно прибыла телеграмма, извещавшая о смерти их матери... Рухнул балкон в замке Моглев. «Вот здесь упала госпожа графиня. Какое несчастье!...»

«Он был пьян и приревновал ее...» Какие основания были у Де Вооса ревновать жену? Дети Жаклин не могли припомнить ни одного мужчины возле их матери. В их памяти она навсегда осталась хрупким светлым видением, образцом прямоты, справедливости и благочестия, предметом их обожания. Можно ли было представить себе, что она вела себя так же, как многие другие женщины, как почти все другие женщины... которых тем не менее не убивают?

Или же виноват во всем был этот необузданный человек, которого они никогда не любили, к которому всегда испытывали безотчетную вражду? А если он был виновен, почему его не арестовали, не осудили? И как у этого убийцы хватило дерзости на протяжении почти двух лет после совершенного преступления жить рядом с ними, делая вид, будто он заботится об их воспитании и защищает их интересы?

И тут Жан-Ноэль внезапно вспомнил, что он одет во фрак этого человека... О нет! Только не это! Он резко выпрямился, встал, но встретил недоуменные взгляды стариков и снова опустился в кресло.

В памяти у него всплыла фраза, сказанная одним из слуг во время похорон матери: «Господин граф приехал в ту ночь из Парижа во фраке...» И Жан-Ноэль спросил себя, не тот ли самый на нем фрак, в котором убийца приехал в тот вечер...

Он вдруг решил поехать в Африку, разыскать Габриэля Де Вооса, заставить его признаться в совершенном преступлении, привлечь его к суду или убить собственной рукой.

Но Жан-Ноэль тут же признался себе, что ничего этого он не сделает, что это лишь последний ребяческий порыв, лишь мелодраматическая поза, какие принимают дети в одиннадцать лет, говоря: «Когда я стану взрослым!» И теперь он взрослый, и тем не менее так и будет сидеть здесь, в кресле времен Людовика XVI, сохраняя внешнее спокойствие, сдержанность, невозмутимость, ибо так его воспитывали с детства – словом и примером... Не выказывать своих чувств, всегда сохранять достоинство и самообладание... «В *наших* семьях носят маску, в *наших* семьях задыхаются под своей маской, кончают с собой, убивают друг друга, но никому не говорят об этом, даже собственным детям... В *наших* семьях порою едва не сходят с ума... но остаются при этом неподвижно сидеть в унылой гостиной в обществе нескольких стариков и ожидают смерти своей бабушки, держа в руке номер „Фигаро“ и слегка покачивая ногой...»

Жан-Ноэль удивлялся, где он взял эту газету, которую так и не развернул... Внезапно он скомкал ее и швырнул на ковер. Старики обменялись недоуменными взглядами, но ничего не сказали.

«Нет, право же, это слишком нелепо», – подумал Жан-Ноэль. Его охватила неистовая ярость против судьбы. Ведь оба они с сестрой родились и выросли в очень богатой семье, с детства привыкли к роскоши; они были едва ли не самыми богатыми наследниками в Париже, им предстояло стать в будущем обладателями огромного состояния и занять свое место в мире роскоши и могущества; и вот теперь, начиная по-настоящему жить, они оказались без родных, без семьи, без поддержки, без денег, и все их имущество сводилось к обветшалому, непригодному для жилья историческому замку, в котором протекала крыша, да кое-какой недорогой мебели и несколькими картинами в особняке на улице Любек, которые они поспешат распродать, чтобы не умереть с голоду, как только тело бабушки будет предано земле.

«Если Богу угодно, чтобы мы оказались бедняками, то лучше бы родились и выросли в бедности. Так было бы легче».

Жан-Ноэль, который уже много лет не вспоминал о Боге, внезапно стал его ненавидеть, не находя другого виновника своего несчастья. Ненавидел он и все, что его окружало, – эту гостиную, этих стариков... И приближение смерти, которая, казалось, уже стояла на пороге их дома, с каждой минутой становилось для него все более нестерпимым.

– Не знает ли кто-либо из вас, где лежат извещения о последних похоронах – о похоронах дяди Урбена и тетушки Валлеруа?

С этими словами Изабелла Меньере обратилась к племянникам. Жан-Ноэль молча посмотрел на нее, резко поднялся и вышел из комнаты. В передней его догнала Мари-Анж.

– Жан-Ноэль! Что с тобой? – спросила она.

– Не могу больше, не могу. Я ненадолго выйду из дома.

– Я пойду с тобой.

– Нет, я хочу остаться один, – возразил он.

Мари-Анж обвила руками шею брата и прижалась головой к его крахмальной манишке.

– Знаешь, у меня тоже очень тяжело на душе, – шепнула она.

Потом, подняв глаза, она спросила:

– Ты идешь к Инесс? Да?

Он покраснел и дернулся, отстраняя ее от себя.

– Я зайду только на минуту и тотчас же вернусь, уверяю тебя, – сказал он, стараясь подавить дрожь в голосе. – Я должен ей кое-что сказать... немедленно.

– А ты не мог бы позвонить по телефону?

Жан-Ноэль покраснел еще сильнее и ничего не ответил. Ему так хотелось бы все объяснить сестре, но он не находил слов.

Мари-Анж посмотрела на брата.

– Ступай, Жан, повидайся с нею, раз ты нуждаешься в ее утешении, – проговорила она.

Потом опустила глаза, и лицо ее стало жестким, но то была чисто внешняя жесткость. Мари-Анж сдерживала слезы.

– Возьми свой шарф, – проговорила она, протягивая брату белый фуляр.

– Я скоро вернусь, – пробормотал он.

Она крепко сжала его руку.

– Жан-Ноэль, но все-таки... не рассказывай ей.

– Ты с ума сошла! – вырвалось у него.

«Да разве он может что-либо скрыть от нее! Ведь он идет туда именно для того, чтобы все рассказать», – подумала она, отвернувшись.

Мари-Анж приоткрыла дверь в гостиную:

– Тетя Изабелла, если я вам понадобится, я буду у себя в комнате.

– А Жан-Ноэль?

В это мгновение стукнула парадная дверь.

Девушка ничего не ответила и стала подниматься по лестнице; глаза ее были полны слез; она думала: «Он хотя бы не одинок... хотя бы не одинок... Он все-таки не одинок...»

В гостиной, затерявшись, как в лесу, среди кресел, участники «большого турнира» обменялись укоризненными взглядами.

– Все мы знаем, что такое юноша в двадцать лет, – произнесла наконец старая госпожа де Лобрийер, – но все же в ночь, когда умирает бабушка, молодой человек мог бы остаться дома. Хотя бы из внимания к вам, милая Изабелла, не правда ли?

Изабелла с беспомощным видом пожалала округлыми плечами.

– Положительно, нынешним молодым людям недостает одной очень важной вещи: у них нет сердца, – заявила другая старуха, ударяя пальцем по своей необъятной груди.

Изабелла в душе готова была с нею согласиться. Но потом она вспомнила кончину Жана де Ла Моннери и то, что тетя Жюльетт наотрез отказалась тогда проститься с умирающим мужем, который просил ее прийти, – вместо этого она продолжала лепить у себя в комнате фигурки из хлебного мякиша.

– Если вы устали, то, уверяю вас... – начала Изабелла, спрашивая себя, когда же наконец трое стариков надумают убраться восвояси.

– Ни за что! Мы не позволим себе оставить вас одну, милое дитя, ведь мы-то хорошо понимаем, каково вам сейчас, – ответила госпожа де Лобрийер.

Это необычное ночное бдение, несмотря на его драматический характер, было как бы маленьким праздником для стариков.

Наступило молчание.

– А вы не играете в бридж, Изабелла? – спросил бывший докладчик Государственного совета, вытирая слезу, затуманившую его монокль.

– Немного и только изредка, – ответила Изабелла.

– А что, если мы составим сейчас партию, – вкрадчиво предложила госпожа де Лобрийер. – Это вас немного рассеет, моя дорогая, и время не будет тянуться так тягостно.

– Да, это отвлечет вас от печальных мыслей, – подхватила вторая дама.

Изабелла немного поколебалась, сняла очки, снова надела их, подняла с виска седеющую прядь. На лбу ее обозначились морщины: она повторяла в уме текст извещения о похоронах.

Трое стариков сидели неподвижно и напряженно ждали; мимолетный отблеск страсти осветил их лица, они смотрели на свою собеседницу как на возжеленную добычу.

– В сущности, почему бы и нет?... Хорошо, сыграем партию... – машинально проговорила она.

С этими словами «тетя Изабелла» уселась за стол и принялась тасовать карты. Для нее – хотя сама она этого еще не сознавала – начиналась старость.

8

Самые заядлые парижские полуночники расположились в квартире Инесс Сандоваль, как солдаты на бивуаке. Их было человек пятнадцать; они грызли печенье, сами наливали себе шампанское и старались, насколько возможно, отдалить минуту, когда они окажутся наедине со своей усталостью, со своим одиночеством, с докучными заботами. Дождаться рассвета, забыться тяжелым сном при первых проблесках дня, в час, когда большая часть людей встает и уходит на работу, – в этом состояла их высшая гордость, это было их важнейшей потребностью.

Повсюду – на стульях, на креслах, на диванах – валялись маски. Бал закончился.

Оставшись в тесной компании, эти люди беседовали о только что закончившемся празднике, где собирался «весь Париж», где никто никого не слушал, но каждый старался произнести звонкую фразу в надежде, что ее будут повторять в гостиных целую неделю. Они обсуждали туалеты, говорили о том, кто как приехал и как удалился... и «кто с кем уехал»...

Потянуло ночной прохладой, и окна затворили. Удобно устроив в кресле свой объемистый живот, композитор Огеран наотрез отказался сесть за пианино, он смаковал сладости и наслаждался злословием.

Опьяневшая герцогиня де Сальвимонте говорила Инесс:

– Ты заметила, дорогая, что Пимроуз напропалую ухаживал за твоим дружкой?

– В самом деле? И ты думаешь, Лидия, только он один?

Эдуард Вильнер усадил на софу высокую, красивую, бледную, известную своей скромностью госпожу Буатель и долго жал ей руку.

– Моя дорогая, – говорил он хриплым шепотом, – вы должны помочь мне умереть.

– Вот уже пять лет, как вы толкуете об этом, Эдуард, – отвечала она.

– Да, но сейчас это действительно так.

Уже два часа Симон Лашом порывался уйти и все-таки оставался из-за Сильвены, а она, стремясь вывести его из себя, нарочно не уходила, делая вид, будто ее необыкновенно занимает беседа с перуанским дипломатом, фатоватым человеком с прилизанными волосами, ослепительной улыбкой и уже обрюзгшими щеками.

«Все дело в том, – думал Симон, – что этому болвану, без сомнения, нужно чего-нибудь добиться от меня, и он воображает, будто, ухаживая за Сильвеной...»

Он презирал самого себя за то, что так глупо теряет время.

«Завтра у меня такой трудный день. Встану разбитый и усталый, а ведь мне нужно подготовить речь для съезда моей партии... В конце концов, пусть этот белозубый идиот провожает ее домой, пусть она его уложит к себе в постель, если ей нравится, мне наплевать. Есть более важные вещи в нашем мире...» И тем не менее Симон не двигался с места, он знал, что они с Сильвеной, как обычно, уедут вместе, чтобы дома устроить друг другу бурную сцену – еще более бурную, более мерзкую, более нелепую, чем все прежние, и что сцена эта закончится пощечинами и истерическими слезами: без этого они в последнее время почти никогда не ложились в постель.

«Я ее больше не люблю, но все еще ревную... Да, последствия болезни еще более губительны, чем сама болезнь».

И Симон продолжал слушать Лартуа, который пустился в свои излюбленные парадоксы об упадке римлян и о нынешнем упадке Франции.

– Наш век Антонинов, мой дорогой, окончился в тысяча девятьсот четырнадцатом году, и нашего Марка Аврелия звали Арман Фальер⁹.

Гости, уходя, оставили открытой дверь на площадку. И Жан-Ноэль не пришлось звонить. Он прошел через переднюю с попугаями, прислушался к голосам, доносившимся из гостиной, слегка раздвинул обшитую шелком парчовую портьеру и увидел сидящих людей, окутанных клубами синеватого дыма. Войти юноша не решался. Что он им скажет? Как объяснит свое возвращение? «Я не имею права ее компрометировать», – подумал он. Инесс смеялась и наливала в бокалы шампанское.

Несколько мгновений Жан-Ноэль простоял неподвижно, надеясь, что она таинственным образом ощутит его присутствие. Да, она *почувствует*, что он тут. «Приди, приди, приди, Инесс», – мысленно молил он.

Но она не услышала этого безмолвного зова и удалилась в противоположный угол гостиной.

Жан-Ноэль отошел от портьеры, двинулся по коридору и проскользнул в спальню Инесс.

«Дождусь ее здесь, – сказал он себе. – Не останутся же они до утра...»

Лампа на серебряной подставке, стоявшая на низком столике, бросала слабый свет на разбросанные в тщательно обдуманном беспорядке чаши из нефрита, иконы, ножи из слоновой кости для разрезания страниц и книги в роскошных современных переплетах. Тут все звуки замирали, стихая в складках бархата. Широкая низкая кровать утопала под огромным покрывалом из шиншиллы: серебристый мех слегка поблескивал в полумраке, словно маня к себе. От букета тубероз исходил пряный дурманивший аромат. В углу виднелся низкий пюпитр из черного дерева, инкрустированный перламутром; за ним Инесс обычно писала, опустившись на колени, словно вознося молитву собственному гению. Жан-Ноэль не раз доводилось наблюдать, как она внезапно подходила к пюпитру и покрывала крупными буквами плотный лист рисовой бумаги, а он тем временем безмолвно лежал в постели, ожидая ее возвращения.

«Никогда, – часто повторял он себе, – никогда я не забуду эту комнату. Никогда ни в одной комнате на свете я не буду чувствовать себя таким счастливым».

В этот вечер он с особой силой ощутил, что спальня Инесс была для него единственным приютом и единственным прибежищем.

Жан-Ноэль бросился на меховое покрывало и зарылся лицом в подушку. Наволочка из оранжевого шелка была пропитана ароматом темных волос Инесс – приторным и терпким ароматом. И, вдыхая этот запах, прижавшись к мягкому шелку, Жан-Ноэль заплакал: нервы его не выдержали напряжения этой ночи.

«Когда же она наконец придет? – спрашивал он себя. – Когда наконец уйдут эти люди? Я не должен плакать, нехорошо, если она застанет меня в слезах...»

Но ему было так жаль самого себя, что слезы текли из его глаз, увлажняя подушку.

Внезапно Жан-Ноэль услышал шаги, шаги Инесс; он уселся на постели, перестал плакать и почувствовал невыразимое облегчение.

Инесс вошла в расположенную рядом ванную комнату, вслед за нею вошел еще кто-то. На мозаичном полу отчетливо раздавались и мужские шаги. Послышалось шушуканье.

Жан-Ноэль вытер глаза, затаил дыхание. Сквозь дверь из ванной комнаты доносился приглушенный смех – вместе с Инесс там находились еще два или три человека. Первым побуждением хорошо воспитанного юноши было уйти, выбраться на цыпочках в коридор... Он почувствовал смущение, словно по ошибке распечатал письмо, адресованное другому.

Вдруг он услышал голос Инесс, которая отчетливо проговорила:

⁹ *Антонины* – династия римских императоров в 96–192 гг., названная по имени Антония Пия. Одним из ее выдающихся представителей считается Марк Аврелий (121–180, император с 161 г.). *Фальер Арман* (1841–1931) – политический деятель Франции, неоднократно занимал высшие посты в государстве, был премьер-министром, председателем сената; президент III Республики в 1906–1913 гг.

– Что ж это такое? Я даже не могу спокойно поспудриться?

– Дорогая, мы хотим поздравить тебя от глубины души, а один только Бог знает, как бездонны наши души...

То был хриплый, задыхающийся низкий голос Эдуарда Вильнера; затем послышался звучный, чуть свистящий голос Лартуа:

– Да, он очарователен, ваш новый паж, друг сердца. Хрупкий, грациозный, изысканный...

– Он – истинное сокровище, – ответила Инесс.

– Мы в этом не сомневаемся, – продолжал Лартуа. – Мы только что о нем толковали, и знаете, что мы говорили... не правда ли, Симон?.. «Положительно, у нашей Инесс всегда был хороший вкус». Тем самым мы косвенно воздавали честь сами себе...

– Но знает ли он толк в любви? – спросил Вильнер. – Мальчишки в его возрасте – что они понимают в любви...

– В один прекрасный день он станет чудесным, превосходным любовником, – напыщенно сказала Инесс.

– О да! Первые робкие шаги гения волнуют нас еще больше, чем его уверенная поступь... – вмешался третий голос. – Когда он пройдет через твои руки, Инесс...

– А главное, через твои уста... – подхватил Вильнер. – О, эти уста, сколько они сделали добра... Воспоминания о них – одни из самых дорогих нашему сердцу воспоминаний...

Скрытые враги, когда дело касалось Сильвены, Эдуард Вильнер и Симон Лашом легко находили общий язык, когда речь заходила об Инесс.

Снова послышался смех, затем тихие, неразборчивые слова, потом шлепок по руке и голос Инесс:

– Не будь же смешным, Эдуард!

– Как, в довершение всего ты еще и верна ему? – проговорил старый сатир.

– Я всегда была и остаюсь верна лишь самой себе, мои драгоценные.

Жан-Нозэль больше не плакал. Он стоял, охваченный смятением, щеки его пылали, сердце горестно сжималось.

Стало быть, Лартуа, Вильнер и тот, третий, – министр Симон Лашом – были любовниками Инесс.

Она никогда ему об этом не рассказывала, никогда не давала повода подозревать. Говоря о них, она восклицала: «Мои старые, старые друзья!» Так вот что значит «старые друзья»!

Он подсчитывал в уме: два мужа, юный поэт, покончивший с собою, трое мужчин, стоящих в ванной комнате... и кто еще?.. Разве можно думать, что не было еще и других? А какой же по счету в этом длинном списке он – «новый паж», «друг сердца»?

Оказывается, Инесс дарила этим людям те же ласки, то же блаженство... И Лашому, этому уроду с головой гигантской лягушки, с толстыми очками на носу... И они говорили обо всем не таясь, открыто, цинично; тогда как он, Жан-Нозэль, тщательно старался скрывать свою любовь, постоянно боялся скомпрометировать Инесс и страдал даже от того, что его сестра знала об их любви.

Больше не приходилось сомневаться в том, что Инесс была любовницей стариков, которым сейчас перевалило уже за семьдесят... Это казалось ему оскорбительным, противоестественным! Вильнер... Лартуа... Два прославленных человека, которыми он с детства восхищался, к которым испытывал глубокое почтение, – они всегда представляли перед ним в ореоле славы; и вот оказывается, они пошлые игривые старички, и в эту минуту они стоят там, в ванной, возле умывальника, и старческие их руки тянутся к платью, к корсажу Инесс.

А она! Как могла она говорить о нем таким тоном, обсуждать с ними его внешность, его мужские достоинства, его чувства, точно речь шла о статях рысака-трехлетки, о качествах нового автомобиля, о прелестной плюшевой игрушке?.. Как могла она смешивать свои

недавние и прошлые воспоминания, обсуждать их с этими умниками в своей ванной комнате, где они, ее бывшие любовники, некогда умывались, одевались, как он?

Удивительное бесстыдство стариков, бесстыдство пожилых людей, больно задело юношу, незаслуженная обида терзала его душу. Он не знал, что ему делать – бежать, унося с собой неизбыточное чувство стыда, или же распахнуть дверь в ванную и крикнуть, оскорбить их... найти в себе мужество для возмущения.

Повернувшись, он задел пепельницу, и она с глухим стуком упала на ковер.

Голоса в ванной смолкли. Затем Инесс сказала:

– Ничего не понимаю. Должно быть, горничная стелет мне постель. Я думала, она уже спит... Ступайте, ступайте-ка отсюда все трое.

Послышались удаляющиеся мужские шаги. Дверь, ведущая из ванной в коридор, захлопнулась. Потом дверь в спальню отворилась и на пороге показалась Инесс.

– Как, это ты? – воскликнула она. – Что ты тут делаешь? Господи, в каком ты виде!

Жан-Ноэль стоял перед нею с растрепанными волосами, со следами слез на лице, на его фраке виднелись серебристые волоски меха. Он смотрел на нее со странным выражением.

– Я ждал тебя, – сказал он.

– Что с тобой? Что произошло? Что случилось? Говори же, милый!..

Жан-Ноэль в упор разглядывал ее. Он не решался вымолвить ни слова. Потом неожиданно – но не тем откровенным и доверчивым тоном, каким говорит человек, ищущий поддержки, а с укоризной, словно желая пристыдить Инесс, произнес:

– Я только что узнал, что мой отец покончил жизнь самоубийством.

Легкое удивление, в котором не прозвучали ни огорчение, ни сочувствие, да, только легкое удивление отразилось на лице Инесс.

– Как, разве ты не знал? – спросила она. – Но ведь это же всем известно. Я отлично помню, как все случилось... Какая-то история, связанная с биржевым бумом. Что-то произошло между твоими отцом и дедом... Тебе никогда не рассказывали? Не понимаю, почему от детей скрывают подобные вещи... Так вот почему ты пришел в такое состояние! Но ведь это просто нелепо, мой юный олень! Что от этого изменилось в твоей жизни?

Теперь Жан-Ноэль в свою очередь изумился. Вот и все, что смогла сказать ему женщина, которая создала себе репутацию необыкновенно чуткого, отзывчивого существа, женщина, которая часами могла рыдать из-за того, что канарейка сломала лапку, женщина, которая писала о самой себе: «Я арфа, что звучит, на горе откликаюсь!»

Арфа не зазвучала. Слово «самоубийство» вызвало у Инесс лишь одно воспоминание – источник слезливых элегий, доставлявших ей самой удовлетворение, воспоминание о юном поэте, покончившем с собой. «Ему я, быть может, обязана томиком лучших своих стихов», – нередко говорила она.

– А моя мать, а моя мать... – вырвалось у Жан-Ноэля сквозь подступившие к горлу рыдания.

– Что ты хочешь сказать о своей матери?

– Ничего... – проговорил Жан-Ноэль, покачав головой.

Внезапно оба почувствовали, что навсегда лишились бесценных, хотя и неосязаемых благ – доверия, душевного слияния, полной откровенности. Инесс вновь сделалась для него чужой. Он отчетливо представил себе, что она, не задумываясь, словно речь идет о какой-нибудь бездельнице, может выдать его тайны своим прежним любовникам, может представить их на суд этого синклита старцев.

– Нет-нет, ничего!.. – повторил он.

– Тебе надо пойти домой, мой ангел, – сказала Инесс. – Ты очень возбужден, очень устал. Завтра тебе все покажется иным. Хочешь, я дам тебе снотворное, ты примешь его перед тем, как лечь спать... И помни, дорогой, что я не перестаю думать о тебе. А завтра, то есть сегодня

утром, позвони мне – так рано, как тебе захочется... Хотя в одиннадцать часов... А теперь иди, прошу тебя. Я не могу дольше оставлять гостей одних.

Вот и все, на что она оказалась способна: снотворное, телефонный звонок... ее гости.

– Да, да, – произнес Жан-Ноэль со злобой, – ступай к ним, к Лартуа, к Вильнеру...

Она поняла, что он слышал весь разговор, происходивший в ванной комнате.

– О! Ты знаешь, Эмиль и Эдуард... – Она сделала жест, означавший, что все это не имеет никакого значения. – Они для меня как братья!

– Вот и оставайся в кругу своей семьи, – проговорил Жан-Ноэль.

– Перестань, перестань, – проговорила она. – Не станешь же ты сейчас ревновать меня к прошлому, особенно к такому прошлому. До чего же ты еще молод! Впрочем, я ничего от тебя не скрывала. Ты сам ни о чем меня не спрашивал. И я думала, что ты знаешь...

У Жан-Ноэля вырвалось первое грубое слово, первая мужская брань.

– Не мог же я предполагать, – крикнул он, – что ты знаешь как свои пять пальцев все ширинки твоего салона!

Но тут краска залила его лицо, и он невольно отшатнулся, ожидая пощечины.

Фиолетовый отблеск промелькнул в черных глазах Инесс.

– Послушай, мой мальчик, – сказала она. – Ты хочешь оскорбить меня! Какая нелепость!

И на ее лице появилось странное выражение скрытой иронии и даже удовольствия.

– Ведь я люблю тебя, мой глупый, мой прелестный, мой глупенький малыш, и ты это прекрасно знаешь, – прибавила Инесс.

Она подошла и подставила ему губы.

Но теперь эти губы были в представлении Жан-Ноэля осквернены чужими поцелуями.

Он резко отвернулся и, не говоря ни слова, вышел.

Тихий коридор, передняя с вольерой для птиц, а за парчовой портьерой смех и голоса, и среди них – задыхающийся голос старого драматурга... Стараясь двигаться бесшумно, Жан-Ноэль отворил входную дверь.

На площадке второго этажа он вдруг остановился, ухватившись за перила. Его мучила тупая боль, жестокая и непонятная. Это болела умершая в его сердце любовь, подобно тому как у человека болит нога, которую уже ампутировали.

9

Улицы были пустынные. Мимо проезжали редкие в этот час такси, и в каждой машине сквозь заднее стекло можно было различить две склоненные друг к другу головы. Близился рассвет. Тряпичники уже рылись в мусорных ящиках.

Жан-Ноэль не знал, куда идти. Он пересекал Париж, словно обломок дерева, уносимый рекой. Он как бы плыл по течению, следуя неведомым путем.

Позади остался дом Инесс, отныне мертвый для него дом. Впереди, внизу, возле Трокадеро, стоял дом на улице Любек, где сейчас уже, должно быть, остывало тело госпожи де Ла Моннери, и – ни одного дома, куда можно постучаться, куда можно войти. Уличные фонари освещали безмолвную тьму.

Слышны были лишь его шаги по мостовой. Жан-Ноэлю чудилось, будто он оказался в мертвом призрачном мире. Он был еще одинок, одинок навеки. Все его чувства, все ощущения притупились.

Он потрогал свои плечи, потом – лоб, но органы чувств, утомленные волнением, горем и бессонницей, отказывались ему служить. Его кожа словно звенела, была лишена живого тока крови. Казалось, у него нет больше ни грудной клетки, ни скелета – лишь холодная пустота заполняла изнутри его одежду, и только одно чувство еще теплилось в этой пустоте – безотчетный, слепой гнев против всего мира.

Он бросился к огромному каштану, замолотил кулаками по его корявому стволу, ушиб руки, заныло плечо, но боль несколько отрезвила и успокоила его, и он снова ударил кулаком по дереву. Да, правы те, кто утверждает, что внешний мир существует, но убеждает нас в своем существовании, лишь когда сопротивляется нам...

Жан-Ноэль с облегчением вздохнул. Это дерево убедило его в реальности мира. Раз оно существовало, значит, существовало и все остальное. Но если это так, значит, его отец покончил с собой, значит, его мать была убита, значит, в постели Инесс побывал чуть ли не весь Париж... И ему надо было примириться со всем этим или же последовать примеру отца... Ибо в конечном счете есть только два способа отвергнуть реальную жизнь – самоубийство и безумие. Но ведь не всяким овладевает безумие... Без сил Жан-Ноэль припал к толстому и темному стволу.

Из тьмы, окутывавшей дерево, внезапно возникли две женщины; несколько мгновений они внимательно наблюдали за молодым человеком. На них были слишком короткие и узкие юбки, плотно обтягивающие бедра, слишком яркие чулки и туфли на слишком высоких каблуках, в руках они держали лакированные сумочки. Жан-Ноэль заметил их и неожиданно расхохотался.

Они приняли его за юного захмелевшего гуляку.

– Что с вами? Нездоровится или хватили лишнего? – спросила одна из женщин.

Жан-Ноэль захохотал еще громче.

– Это вы над нами смеетесь? А что в нас такого смешного? – вступила в разговор вторая.

– Нет-нет, я не над вами... Я просто так... Пустяки, – ответил Жан-Ноэль, успокаиваясь.

– Ты просто пьян, мой цыпленочек, видать, здорово нализался! – объявила первая из женщин.

Голос был хриплый, тон – вызывающий. Жан-Ноэль пристально посмотрел на нее: обесцвеченные волосы странного оттенка, напоминавшего латунь, крупное худое лицо, прорезанное широким, ярко накрашенным ртом, на плечах – черно-бурая лиса. Ее подружка, пухленькая девица с жидкими завитыми волосами, походила на мешаночку.

Жан-Ноэль попытался определить, куда он забрел. Ах, да это Елисейские Поля, тут уже начались сады, и фонари освещали листву деревьев...

– Что ж ты тут делаешь? Возвращаешься домой в одиночестве? – спросила девица с лисой. – Мы тоже идем домой... Может, займемся любовью?

Заняться любовью. «Умеет ли он, по крайней мере, заниматься любовью?... Он станет чудесным любовником... Когда пройдет через твои руки... а главное, через твои уста...» Заняться любовью... Те же слова, какие употребляют и Лашом, и Лартуа, и Инесс.

– Если хочешь, пойдем с нами, мы славно позабавимся втроем. Потому что мы – я и моя подружка – не расстанемся. Мы всегда неразлучны, понимаешь?..

Она приблизила к лицу Жан-Ноэля свое худое лицо, раскрыла ярко накрашенный рот и щелкнула длинными редкими зубами. На вид ей было не больше двадцати пяти лет, но ее лицо походило на маску смерти, какие встречаются в факельных шествиях.

«Мы славно позабавимся втроем...»

Втроем... Вчетвером... Как Инесс, Вильнер, Лартуа и Лашом в ванной комнате.

Толстушка с лицом мешаночки кивнула своей подружке, будто говоря: «Ладно, пошли, нечего время терять! Он все равно не решится».

Жан-Ноэль продолжал разглядывать их...

– Сколько? – спросил он, и при этих словах у него зашумело в голове.

И в эту минуту он подумал о Мари-Анж, которой обещал вскоре вернуться, о Мари-Анж, которая воображала – какая насмешка! – что он сейчас, умиротворенный и успокоенный, находится в объятиях Инесс, о Мари-Анж, единственном существе, которое он мог по-настоящему предать, о Мари-Анж, в чьем стройном теле билось сердце, страдавшее так же, как страдало

его сердце... Еще не поздно было вернуться к ней, единственному близкому другу, поддержать сестру и самому найти у нее поддержку.

Девыцы совещались.

– По сто франков каждой, – заявила долговязая с выкрашенными под латунь волосами. – И лишь потому, что ты красивый малый и нравишься нам. Верно, Минни?

Толстушка утвердительно кивнула.

Жан-Ноэль усмехнулся, подумав, что примерно столько же стоили бы цветы, которые он послал бы утром Инесс. И эта мысль помогла ему решиться.

В потолок было врезано зеркало... Жан-Ноэль не мог бы сказать, какой дорогой вели его проститутки от Рон-Пуан и как они очутились в этой комнате дома свиданий, где пахло плесенью, скверным кремом, дешевыми духами и грехом.

Заспанный ночной лакей в сорочке с отстегнутым воротничком принес полотенца и крошечный кусочек мыла.

– Тебя не мучит жажда, мой миленький? А я просто умираю, до того выпить хочется, – проговорила блондинка с лицом мертвеца.

И заспанный лакей, шлепая башмаками, принес отвратительный коньяк в маленьких облупившихся посеребренных стаканчиках, какие обычно стоят по шесть штук в ряд на буфетах в привратничках.

И Жан-Ноэль заплатил слуге, он заплатил и девицам, желавшим получить свой «подарок» вперед... «Это как-то приятнее... Потом уже о деньгах нет речи...»

– Надо признаться, что гость во фраке нам не так уж часто попадается, – сказала блондинка. – К тому же ты красив, тут уж ничего не скажешь.

Внезапно, заметив волоски меха на одежде Жан-Ноэля, она забеспокоилась:

– Черт возьми! Неужели это моя лиса линяет? – испуганно закричала она.

Сняв серебристый волосок, она поднесла его к свету.

– Нет, все хорошо, это не с моего воротника, – объявила она. – Выходит, ты нынче вечером занимался любовью на покрывале из меха? Не хочешь отвечать? Ну что ж, я не любопытна...

И обе девыцы, сбросив одежду, равнодушно позволили гостю созерцать их тела: ведь каждая получила от него сто франков. Они остались только в туфлях и в шелковых чулках, спущенных до щиколоток.

И теперь фрак Де Вооса, перешитый фрак убийцы Жаклин, лежал на стуле этой низкопробной гостиницы, его фалды касались потертого ковра, и в полутьме фрак этот походил на осевшее тело сраженного кинжалом человека.

И теперь Жан-Ноэль, обнаженный, лежал посреди постели, между двумя проститутками, и не отрываясь смотрел в потолок.

– Мы привели тебя сюда, – сказала девица, которую подруга называла Минни, – потому что это единственное заведение, где есть такие зеркала. А втроем с ними занятнее.

Она была плохо сложена – короткие ноги, отвислый зад, шероховатая кожа. Девица с латунными волосами подверглась в свое время кесареву сечению, и в зеркале Жан-Ноэлю был виден длинный шов, разделявший надвое ее худой живот. У нее были острые бедра, жалкая отвислая грудь; бледное тело было испещрено набухшими зеленоватыми венами; раздетая, она еще больше походила на труп.

Впрочем, отражаясь в туманном зеркале, они все трое напоминали погребенных в склепе людей, которых внезапно и противоестественно оживили; они походили также на трех мертвецов, похороненных в общей гробнице; казалось, плита над ней поднялась в минуту воскрешения плоти, обреченной на муки ада и вечное проклятие.

Жан-Ноэль наблюдал в зеркале переплетение голов, ног, волос, в котором его собственное тело – белое, длинное, куда более красивое, чем тела обеих женщин, – было центром и стержнем. Казалось, два демона набросились на ангела, чтобы увлечь его в адскую бездну. И бледный ангел наблюдал за тем, как его собственные руки пробегали по телам наемных жриц разврата, которым предстояло в тот вечер служить для него орудием извращенной мести, причем сам он был одновременно и палачом и жертвой.

Жан-Ноэль не отвечал на непристойные вопросы девиц. У него не было определенных желаний. Он довольствовался тем, что наблюдал в зеркале, как происходила эта черная месса любви, и вырабатывал в себе холодную трезвость. Он не позволял девицам целовать себя в лицо, но зато отдал им во власть все свое тело, испытывая при этом смешанное чувство равнодушия, ужаса и радости, сотканное из удовлетворения и отвращения. Его поражало, что прикосновение этих рук, этих губ рождало в нем такие же желания, так же напрягало его нервы, как и ласки Инесс.

– Почему вы занимаетесь этим ремеслом? – услышал он собственный вопрос, обращенный к двум падшим созданиям, которые – он видел это в зеркале – как две пиявки присосались к его телу.

Жан-Ноэль тут же спросил себя, зачем он сказал такую глупость. «За сто монет», – услышит он сейчас в ответ.

Он увидел, что голова маленькой мещаночки зашевелилась, исчезла за рамой зеркала.

– Потому что мне нравится это занятие, – ответила она убежденно.

– Самое забавное, что она говорит правду, – произнесла девица с лицом мертвеца, в свою очередь поднимая голову и взмахивая похожими на змей прядями своих желтых волос. – И сегодня вечером она отводит душу... Я – другое дело... Меня это не увлекает. Лишь бы поскорее отделаться... А теперь ты скажи, – спросила она Жан-Ноэля, – ведь ты красив, богат, у тебя, верно, и порядочных женщин хватает? Разве ты не понимаешь, что заниматься этим с нами – значит предаваться пороку?..

Их голоса раздавались совсем рядом, а рты раскрывались в трех метрах над ним. Привычные соотношения предметов в мире изменились.

И вдруг Жан-Ноэль увидел в зеркале, что он рывком привлек к себе длинное тело женщины со шрамом на животе.

– Вот видишь, я ж тебе говорила, что он хочет тебя, – заметила Минни с досадой профессионалки.

Взор Жан-Ноэля померк. Теперь в тусклом зеркале он видел не только спину худой женщины и короткие руки ее подруги на своем теле, теперь там появилась Инесс со спущенными на щиколотки чулками; и рядом с нею был Лартуа, и рядом с нею был Вильнер, а она – раздвоившись, отвратительная в своей похоти – склонялась то над одним, то над другим. Жан-Ноэль видел в зеркале и своего деда, грозного Ноэля Шудлера с остроконечной бородкой; и он видел там свою мать, он видел ее дважды, словно и ее образ раздвоился: над одним ее телом был его отец, а над другим ее телом – второй муж, убийца; и там же, наверху, виднелась и его умирающая бабушка Жюльетт де Ла Моннери, потому что она, как и все другие женщины, принимала в свое лоно мужское семя и рожала детей. Живые и усопшие члены его семьи и те, кого он видел в ореоле поэзии и славы, – все смешивалось и переплеталось здесь, все становилось низменным и осквернялось. Тело худой жрицы любви содрогалось, и каждый раз это вызывало у Жан-Ноэля новый образ, каждый жест обеих девиц, каждое их движение порождали к жизни новых участников этого бесовского хоровода. Марта Бонфуа и герцогиня де Сальвимонте, Лашом и Огеран, все участники бала у Инесс Сандоваль возникали в зеркале – и все они были без одежды, а их лица скрывались под масками чудовищ; вслед за ними теснились нищие, некогда стоявшие у дверей дома на авеню Мессины и теперь всплывшие из глубин памяти Жан-Ноэля вместе с образом его прадеда Зигфрида, раздававшего им милостыню; да,

они были тут – все эти калеки, обездоленные и голодные, они кружились без устали в стремительном хороводе, и на их лицах одна маска сменяла другую...

Зеркало превратилось в сцену, на которой разыгрывался какой-то гибельный кошмар, в отвратительную фреску, стремительно разраставшуюся и грозившую закрыть весь небосвод...

Жан-Ноэль закрыл глаза.

Глава II

Разрыв

1

Как обычно, Симон Лашом начал готовить свою речь в последнюю минуту. Два дня назад в Люксембургском дворце проходило затянувшееся до глубокой ночи заседание, и Симон, занимавший место на правительственной скамье, был вынужден дать отпор нескольким престарелым сенаторам, взъерошенным и упрямым, как кабаны: они изо всех сил старались найти повод для того, чтобы свергнуть кабинет министров.

Симон прижался горячим лбом к оконному стеклу, в которое глядела ночь.

Он диктовал уже больше часа.

Квартира Симона Лашома помещалась в возвышенной части площади Трокадеро, в недавно построенном здании.

Прямо против его окон высились строительные леса Всемирной выставки, где ночные бригады рабочих трудились при свете прожекторов. Министр с минуту наблюдал за этим множеством человечков, которые двигались внутри ограды в светящейся дымке, напоминавшей северное сияние: они укрепляли мачты, убирали строительный мусор, толкали вагонетки, натягивали канаты, втаскивали на постаменты бронзовые статуи. Слева возносилась великолепная белая громада нового дворца Трокадеро, который отныне стали именовать дворцом Шайо, чтобы не задевать обидчивых испанцев¹⁰, на его стены наводили последний глянец и облицовывали их последними мраморными плитками. В садах водопроводчики устанавливали металлические трубы водометов и электрики регулировали работу светящихся фонтанов.

Два павильона – павильон СССР и павильон гитлеровской Германии – высились друг против друга перед мостом Иены и, казалось, бросали один другому в ночи молчаливый вызов, который воспринимался как предзнаменование. Кровельщики быстро расхаживали по крышам павильонов других стран; на противоположном берегу Сены можно было различить какое-то постоянное движение – казалось, взбодораженные муравьи снуют между гигантскими лапами Эйфелевой башни; дальше испытывали освещение во французской деревне, словом, повсюду – вплоть до самого Марсова поля – спешно заканчивали возведение этой горизонтальной Вавилонской башни, построенной из многослойной фанеры и гипсовых плит, этого иллюзорного призрачного города, где ежедневно пятьсот тысяч человек смогут гулять, пить, есть, толкаться, глазеть на разные чудеса, теряться, сходить с ума от восторга, покупать карпатские куклы, восточные благовония, нугу из Монтелимара, а потом длинными колоннами плестись домой, устало шагая и поднимая целые тучи пыли и рекламных проспектов.

Симон Лашом подумал, что и он мог быть одним из таких рабочих, которые при свете переносных электрических ламп были заняты этим гигантским, но недолговечным трудом. По рождению он ведь тоже принадлежал к самым обездоленным слоям общества; его родители вместе с родителями этих людей составляли бесчисленную народную массу, и судьба Симона, как и большинства его сверстников, могла уготовить ему совсем иную роль – он мог сделаться сельскохозяйственным или промышленным рабочим.

¹⁰ Дворец Шайо, сооруженный на холме того же названия для Всемирной выставки 1937 г., сменил на этом месте дворец Трокадеро, который был построен ранее для Всемирной выставки 1878 г. Последний получил свое название в честь взятия французской армией испанской крепости Трокадеро (близ города Кадикса) в 1823 г.

Но он стал видным деятелем, которому поручили утверждать проекты и сметы этой огромной ярмарки, человеком, которому принадлежало решающее слово в выборе архитекторов и в покупке произведений искусства, человеком, чье имя красовалось на мраморной доске в одном из перистилей.

Лашом обернулся, и в каминном зеркале отразилась его приземистая фигура, фигура человека, чьи фотографии и карикатурные изображения чуть ли не ежедневно появлялись в газетах.

Стенные часы показывали полночь, а он все еще работал над государственными проблемами, в то время как рабочие трудились на строительных лесах, и это обстоятельство наполняло его сознанием высшей справедливости.

Секретарша ждала, держа в руке карандаш, а на коленях ее лежал блокнот для стенографических записей. Госпожа Дезескель уже три года работала личной секретаршей Симона. То была женщина лет тридцати, бесцветная брюнетка, не красавица, но и не дурнушка, зато удивительно пунктуальная, исполнительная машинистка с необычайно быстрыми пальцами. Память у нее была безукоризненная.

Она принадлежала к числу тех женщин, которые всегда влюбляются в своего начальника – в того, с кем работают. По просьбе Симона она безропотно пропускала обеденные часы, проводила бессонные ночи, бесконечно откладывала свой отпуск. Он был в ее глазах человеком гениальным, почти богом. Она молча обожала его и в глубине души люто ненавидела Сильвену. Симон прекрасно отдавал себе во всем этом отчет.

Он мог бы по своей прихоти без всякого труда овладеть этой женщиной, всегда готовой отдаться ему и не менее привлекательной, чем многие другие. Но Симон ни разу не поддался столь легкому соблазну, ни разу даже не потрепал ее по щеке. Он слишком хорошо понимал, какую извлекает выгоду из неутоленной страсти, которую она к нему питала.

– Из-за меня вы поздно ложитесь спать, милая моя Дезескель, – сказал он.

– О, не тревожьтесь, господин министр, это пустяки. У меня еще много времени до последнего поезда метро.

Она жила вблизи Булонского моста.

«Последний поезд метро», – мысленно повторил Лашом и вспомнил, что уже лет десять он не пользовался метро. Он с усилием восстановил в памяти спертый и теплый воздух подземной железной дороги... Впрочем, нет – в это время года, да еще ночью, в метро хоть и душно, но довольно прохладно... А быть может, это зависит от линии... По правде говоря, он толком не знал. Да, он уже ничего толком не знает о человеческих толпах, которые каждый день теснятся в вагонах подземной железной дороги – на глубине десяти метров под колесами его правительственной машины.

Симон сказал себе, что ему как-нибудь на днях надо будет проехаться в метро, чтобы составить себе представление обо всем этом.

Секретарша с нежной заботливостью отмечала следы усталости на большом, уже облысевшем лбу министра и в его тусклых глазах, прикрытых стеклами очков.

– Если вы сегодня устали, господин министр, – сказала она, – я готова приехать завтра рано утром, и вы закончите диктовать мне свою речь. Я приеду, когда вам будет угодно, – в семь часов, даже в шесть...

Она смутно надеялась услышать в ответ: «Ну что ж, я и вправду не прочь отдохнуть несколько часов. А вам незачем проделывать такой долгий путь, располагайтесь-ка здесь, на диване...»

Симон думал о делах на завтра. Ему предстояло принять делегацию союза учителей средней школы, а затем директора Люксембургского музея – по поводу новых приобретений; на прием к нему были записаны еще человек десять; из приличия ему следовало бы присутствовать на похоронах госпожи де Ла Моннери. Он должен будет принять решение по делу

одного инспектора начальных школ в Индокитае, который изнасиловал местную жительницу; потом – завтрак с представителями департамента Шер; после обеда откроется съезд его партии, где ему надо выступить с речью. А кроме всего прочего – писанина, вся эта бумажная писанина. Не меньше часа придется подписывать разные бумаги, затем необходимо просмотреть не менее тридцати папок с документами, продиктовать тридцать писем по самым различным вопросам – относительно субсидий, театральных декораций, охраны исторических памятников, деятельности национальных театров, школы изящных искусств, виллы Медичи, археологических экспедиций на Средний Восток и детских садов в Дранси.

– Наша драма, драма любого министра, состоит в том, что мы двадцать часов занимаемся административными делами и только десять минут – делами государственными. Нет даже времени собраться с мыслями, – проговорил Симон.

Нет, он должен продиктовать свою речь не откладывая.

– Итак, на чем я остановился? – спросил он. – Повторите, пожалуйста.

Стенографистка склонилась над блокнотом и прочла:

– С того момента, когда стало ясно, что великие и великодушные проекты тысяча девятьсот девятнадцатого года не достигли своей цели...

– С того момента, – подхватил Лашом, – когда сама идея пойти на жертвы во имя мира была похоронена вместе со смертью председателя кабинета министров Аристиды Бриана¹¹, с того момента, когда, едва подняв свои страны из руин, народы вновь отдают львиную долю энергии созданию новых средств разрушения...

– Разрушения... – вполголоса повторила секретарша, не поднимая головы.

– ...и с того момента, – продолжал Лашом чуть медленнее, – когда обращение к насилию вновь стали считать допустимым, а порою и желательным, и народы...

Он остановился, почувствовав, что зашел в тупик. Конечные выводы ускользали от него, он не мог их сформулировать и обосновать.

«Нынче вечером внимание у меня рассеивается, никак не могу сосредоточиться, – подумал он. – А все потому, что я сам не уверен в том, что хочу сказать, вернее, я не могу прямо и откровенно сказать то, в чем действительно уверен».

Он уселся за массивный письменный стол палисандрового дерева, протер очки большим пальцем, повертел в руках сигарету, но не закурил. Его мозг несколько мгновений работал вхолостую, как мотор, который не может набрать скорость. Потом Лашом спросил себя: «Неужели я и вправду думаю, что в скором времени неизбежно разразится война?»

От этого важнейшего вопроса, который он, как член кабинета министров, должен был задать себе, зависело и его душевное спокойствие, и поведение перед лицом избирателей и парламента.

Симон Лашом занимал пост вице-председателя своей партии; при первом же правительственном кризисе он был вправе ожидать и даже потребовать один из трех главных портфелей – военного министра, министра внутренних дел или министра иностранных дел; на него уже смотрели как на одного из возможных кандидатов на пост председателя кабинета министров, и эта речь по общим вопросам политики должна была открыть ему путь к высшим постам в правительстве, которые еще предстояло завоевать.

«Роковой вопрос, роковой вопрос... – повторял он про себя. – Неужели я действительно так думаю? Но если я действительно так думаю, то обязан сказать об этом во всеуслышание!»

У него закружилась голова от сознания своей ответственности; за последнее время это происходило с ним довольно часто.

¹¹ *Бриан Аристид* (1862–1932) – политический деятель Франции, неоднократно в период 1909–1931 гг. занимал посты премьер-министра и министра иностранных дел Франции; один из инициаторов создания системы союзов европейских государств (пакт Келлога – Бриана 1928 г. и др.).

«Прежде, – подумал он, снова принимаясь шагать по комнате, – передо мной не вставали такого рода проблемы. Почему же теперь я менее уверен в себе? Неужели старею?»

Он мысленно припомнил все основные этапы своей политической карьеры.

«Да, мне всегда везло, – сказал он себе. – Убийство Думьера, мятеж шестого февраля, покушение на Барту и короля Александра, дело Ставиского¹². Я всегда действовал без колебаний и выходил сухим из воды. Каждое важное политическое событие со времени моего избрания в палату в двадцать восьмом году укрепляло мое положение. Но вот... в успешной карьере всякого политического деятеля непременно наступает такая пора, когда его личная судьба становится неотделимой от судьбы его родины, его народа... Такая пора наступает и для меня... Завтра, либо через два месяца, либо через полгода я займу кабинет на улице Сен-Доминик или на набережной д'Орсе. И тогда... Если разразится война, меня назовут убийцей. Если она окончится победой, меня увенчают лаврами победителя. Если мы потерпим поражение, я – человек бездарный, меня ждет позор, отставка. Разумеется... не меня одного, но меня в первую очередь... Отныне моя судьба, коль скоро я произнесу речь по вопросам общей политики, отступает на задний план перед судьбой всего народа. Думал ли я, что меня ожидают такие волнения и тревоги, когда мечтал стать министром?»

Теперь уже нельзя будет заботиться только о своей личной карьере, обращая себе на пользу падения кабинетов министров, покушения, неудавшиеся мятежи и финансовые скандалы.

Отныне предстояло действовать, глядя прямо в глаза Истории. И Симон отлично видел, как развивалась История, как складывались судьбы народа и государства в те годы, когда он занимался своей собственной карьерой, карьерой честолюбца; предвидел он и завтрашний день страны.

Ох уж эта современная История!.. На другом краю земного шара китайские маршалы после смерти Сунь Ятсена¹³ дрались между собою, подобно наследникам Александра Македонского; Япония попирала своей пятой Маньчжурию, среди рисовых полей трещали пулеметы, в предместьях, застроенных бамбуковыми домиками, пылали пожары. В Абиссинии шла война, вспыхнувшая только потому, что одна сторона твердо решила развязать ее, война, походившая на огромный черный нарыв на груди Африки, война, в которой полуголые люди, вооруженные копьями, среди разрывов снарядов и бомб в отчаянии старались заманить танки в западню, как будто речь шла о носорогах.

Разве мог не вспомнить Лашом и о том, что он входил в состав сменявших друг друга правительств, из которых одно было против санкций в отношении Италии, другое – за санкции, а третье – за то, чтобы не проводить в жизнь принятое решение о санкциях.

Ох уж эта современная История!.. Банкротство Лиги Наций, уход делегации Германии, которая покинула зал заседаний при гробовом молчании остальных делегаций, и последующая деятельность Женевской Ассамблеи, когда с каждой сессией на ней присутствовало все меньше и меньше стран и она довольствовалась тем, что принимала робкие и недейственные решения, порицавшие агрессора.

¹² *Думьер Поль* (1873–1932) – государственный деятель Франции, председатель сената в 1927 г., президент III Республики в 1931–1932 гг., был смертельно ранен русским белоэмигрантом Горгуловым 6 мая 1932 г. *Барту Луи* (1862–1934) – государственный деятель Франции; с 1894 г. неоднократно занимал пост министра, в 1913 г. – премьер-министр; в 1934 г. – министр иностранных дел. Сторонник франко-советского сотрудничества. Погиб вместе с королем Югославии Александром I Карагеоргиевичем (1888–1934) во время покушения, организованного хорватскими усташами при участии фашистских разведок. *Дело Ставиского* – финансово-политическая афера во Франции в начале 1930-х годов, названная так по имени А. Ставиского, пользовавшегося покровительством в правительственных кругах и присвоившего значительные денежные суммы в результате продажи фальшивых облигаций. Эта афера послужила предлогом для наступления правых антиреспубликанских элементов, спровоцировавших фашистский путч в феврале 1934 г.

¹³ *Сунь Ятсен* (1866–1925) – первый (временный) президент Китайской Республики (1 января – 1 апреля 1912 г.); основатель партии гоминьдан (1912 г.).

Бойня в Испании, интервенция Германии и Италии, которые воспользовались военным мятежом для того, чтоб превратить целую страну в театр военных действий и залить ее кровью.

У самых границ Франции звучали железные голоса, которые с балкона в Милане, с подмостков в Нюрнберге, с трибуны стадиона, с подножки вагона, с трактора, с бронированного автомобиля, с любого возвышения призывали к насилию и распаляли зверские инстинкты в своих ордах, одетых в военную форму.

А в странах Северной и Южной Америки в это время сжигали в топках паровозов пшеницу – пшеницу, которую некуда было девать, хотя в то же самое время от голода в Азии ежегодно погибали миллионы людей.

И безработица, и производство оружия – для того, чтобы рассосать эту безработицу... Производство оружия для того, чтобы захватить себе «жизненное пространство», чтобы поддержать притязания немецкого национального меньшинства в других странах, чтобы сохранить зоны своего торгового влияния... И продажа оружия различным странам на всех континентах, продажа то открытая, то контрабандная... Могло показаться, что одна часть человечества не могла существовать, не продавая орудий уничтожения другой его части.

И повсюду война, уже начавшаяся или только готовившаяся; и повсюду – угрозы, поиски новых взрывчатых веществ, совершенствование средств уничтожения людей...

– Когда народы тратят все свои силы на то, чтобы производить оружие, – размышлял Симон уже вслух, – они неизменно лелеют нелепую надежду, будто им не придется его применять, хотя всей своей тяжестью этот груз оружия неумолимо толкает их к смерти.

Секретарша застенографировала последнюю фразу.

– Это продолжение вашей речи, господин министр? – спросила она.

Лашом поднял голову и с удивлением посмотрел на свою сотрудницу.

Оказывается, он, не заметив того, выразил вслух мысли оппозиции и чуть было не обрушился с обвинениями на самого себя.

Что сделал он, Симон Лашом, выборный представитель нации, одержавшей победу в восемнадцатом году, что сделал он, чтобы преградить путь войне, «которая никогда больше не должна была повториться», но которая на самом деле не прекращалась на планете ни на одну минуту и с каждым днем все теснее сжимала в своих тисках его страну. Поднял ли он хоть раз свой голос против войны, воспользовался ли он хоть раз для этого парламентской трибуной и своим авторитетом, нашел ли он хоть раз в себе мужество отказаться от какого-либо важного поста и тем самым заявить о своей непричастности к надвигающейся беде?

На минуту ему захотелось сказать обо всем этом завтра, кинуть эту бомбу в зал заседаний общенационального съезда своей партии. Но готов ли он ради облегчения собственной совести, ради минутного облегчения, перечеркнуть десять лет своей предшествующей политической деятельности? И ради чего? Какое разумное решение мог он предложить?

Его одолевали сомнения, но ему не к кому было обратиться за советом! У него больше не было старших наставников, были теперь лишь соперники.

– Госпожа Дезескель, – сказал он, – что вы станете думать обо мне, если вспыхнет война?

– Я буду думать, господин министр, что вы сделали все, чтобы избежать ее, – ответила секретарша.

И вдруг она побледнела.

– Неужели вы и вправду полагаете?... – спросила она.

– Нет-нет, разумеется, нет. Я просто размышлял вслух, – поспешил сказать Симон.

«Какой великий человек, – подумала секретарша. – Перед тем как выступить с речью, он долго размышляет над столь серьезными вопросами. А люди слушают его, даже не подозревая об этом...»

А Симон в это время думал: «Вот оно! Надо либо сказать им правду и повергнуть их этим в отчаяние, либо лгать ради их же успокоения».

В эту минуту зазвонил телефон. Секретарша сняла трубку.

– Это мадемуазель Дюаль, – проговорила она, прикрывая рукой мембрану.

Лашом нетерпеливым жестом взял трубку, и в ней послышался резкий голос Сильвены:

– Алло, Симон, это ты, дорогой? Происходит что-то ужасное... Затеваются интриги против меня, против тебя, – кричала Сильвена. – Хотят сорвать мой дебют в «Комеди Франсез» и выставить нас с тобою на посмешище.

– Но что, в конце концов, происходит? – спросил Симон.

– Мое платье для второго акта никуда не годится!

Симон пожал плечами, а Сильвена продолжала свои бесконечные жалобы, путано и возмущенно говорила что-то о репетициях, о коварстве театральных портных и ателье мод, о кознях артистов и о ненависти, которую они к ней будто бы испытывают.

– Я убеждена, что у этого дела – политическая подоплека, – верещала она.

– Но твою беду не так уж трудно поправить, ведь до генеральной репетиции еще целых шесть дней, – успокаивал ее Лашом.

Однако Сильвена придерживалась иного мнения. Она хотела, чтобы Симон на следующий день утром отправился с нею к модному портному, где она выберет себе другое платье.

– Но, моя дорогая, ты просто не думаешь, что говоришь, – воскликнул Симон. – Ты и впрямь хочешь выставить меня на посмешище! Клянусь тебе, у меня есть дела поважнее...

И тогда ему пришлось выслушать длинную тираду о любви. На свете нет ничего важнее любви! Самые выдающиеся деятели на протяжении всей человеческой истории доказали это. И если у него не хватает мужества вступить за любимую женщину...

– Может быть, мы обсудим все это позднее? Здесь сидит моя секретарша, и я с ней работаю, – попробовал было возразить Лашом.

– Но ведь речь идет и о моей работе, – перебила его Сильвена. – И пойми: нанося удар мне, метят в тебя.

Спасибо еще, она не упрекает его в том, что он вредит ее карьере, ибо занимает пост министра.

Симон чувствовал, что этому разговору не будет конца. Присутствие стенографистки мешало ему сказать Сильвене какую-нибудь грубость, хотя его так и подмывало это сделать; резко повесить трубку и тем самым оборвать разговор также было нельзя – последствия могли быть самые плачевные. Стиснув зубы и постукивая ногой по ковру, он еще несколько минут выслушивал всякого рода упреки, рыдания и предсказания самых ужасных катастроф. Суеверная Сильвена придавала непомерное значение выбору платья для спектакля.

– Ну хорошо, согласен, – проговорил он наконец, сдаваясь. – Завтра в половине двенадцатого. Только смотри не опаздывай, в моем распоряжении будет всего полчаса. Да... обещаю... Да, пообедаем вместе... Ну да, я тебя люблю... Да, спи спокойно.

Вздохнув с облегчением, он положил трубку.

Госпожа Дезескель сидела молча, с каменным лицом, страдая за Симона, а Симон страдал, угадывая ее мысли.

– Ладно, давайте кончать, – проговорил он, вкладывая в эти слова раздражение, вызванное разговором с Сильвеной. – Вычеркните все, что вы написали, начиная со слов «с того момента», и пишите дальше...

Он закурил сигарету.

«В конце концов... в конце концов, – мысленно говорил он себе, меря комнату большими шагами, – это такая же речь, как многие другие, и цель ее – доказать, что моя партия действовала наилучшим образом, и переложить ответственность за допущенные ошибки на других. Я и так делаю все, что могу. Не в силах же я один заставить мир свернуть с ложного пути,

по которому он идет? И кого, спрашивается, спасать? Что спасать? Жалкие интриги в театре „Комеди Франсез“? Балы Инесс Сандоваль? Музыкальные пустячки Огерана?..»

Он остановился на ковре посреди комнаты, набрал полную грудь воздуха, расправил плечи и принялся диктовать:

– Слов нет, на международном горизонте собираются тучи. Но терять надежду, преувеличивать значение происходящих событий и тем самым – как этого кое-кому хочется – толкать страну на путь авантюр, которые могут пойти на пользу только врагам демократии, это значит совершать преступление против Республики, против родины, против самой цивилизации... Граждане, история катастроф, которых мы избежали, никогда не будет написана. Но будь она написана, я уверен – она свидетельствовала бы в нашу пользу. Больше чем когда-либо мы должны хранить верность великим и великодушным принципам...

Чтобы выразить теми же словами мысли, противоречившие его истинным соображениям, он заговорил раздельно, энергично и убедительно, как всегда говорил с трибуны.

– О да, теперь намного лучше! – невольно прошептала секретарша.

– ...Но это «больше чем когда-либо» обязывает нас оставаться бдительными...

Симон ударил левым кулаком по правой ладони. На сей раз должная концовка речи найдена. С тем же выразительным жестом он повторил призыв к бдительности; во внутренней политике нужны бдительность республиканцев и сближение всех демократических партий во имя защиты традиционных свобод; нужна бдительность в вопросах национальной обороны – для защиты границ; нужна бдительность в дипломатии – во имя сохранения мира во всем мире.

Все это означало – для тех, кто умел читать между строк, – что Симон Лашом требовал для себя один из трех главных портфелей... разумеется, для того, чтобы проявлять бдительность, к которой он призывал...

За окнами на лесах Всемирной выставки рабочие продолжали паять свинцовые трубы и разравнивать цемент...

2

Жан-Ноэль вновь надел тщательно вычищенный фрак, чтобы возглавить траурный кортеж на похоронах госпожи де Ла Моннери. Отпевание происходило в церкви Сент-Оноре-д'Эйлау, в той самой, где некогда служили заупокойную мессу по усопшему поэту Жану де Ла Моннери.

– Помнишь, – обратилась Мари-Анж к брату, – в то утро ты горько плакал из-за того, что меня взяли на похороны дедушки, а тебя нет. Ты был еще слишком мал...

Сравнивая торжественные похороны поэта с нынешней церемонией, Мари-Анж, которой с детства запомнились сотни горевших тогда свечей, ясно почувствовала, в какой упадок пришла их семья.

Всего человек тридцать, не больше, сочли нужным проводить в последний путь госпожу де Ла Моннери, вдову знаменитого поэта. Заупокойную мессу отслужили с такой поспешностью, как будто все – священник, диакон, факельщики из бюро похоронных услуг – торопились покончить с необходимой формальностью. В сущности, никому не было дела до покойницы.

Опираясь на бутафорскую алебарду, церковный швейцар откровенно скучал.

Молодой герцог де Валлеруа, толстый и лысый человек лет сорока, у которого был важный вид дорожащего временем делового человека, явился на похороны не потому, что испытывал особую привязанность к своей старой тетушке, Жюльетт де Ла Моннери, но единственно из приличия и по обязанности – он считал себя главой старинного аристократического рода. По той же причине он каждый год присутствовал на мессе, которую служили в день смерти Людовика XVI.

Старинные дворянские семейства д'Юин и де Ла Моннери угасали или почти полностью угасли, их родовое достояние пошло прахом, и даже то обстоятельство, что они породнились с Шудлерами, лишь ускорило их упадок; род Валлеруа, напротив, сохранил былую значительность и процветал: состояния, доставшиеся по наследству, умножили его богатство. Шарль де Валлеруа (его по привычке продолжали называть «молодой герцог», так как этот титул достался ему, когда он едва достиг совершеннолетия) владел дюжиной замков, разбросанных в четырех департаментах, тысячами гектаров пахотной земли, акциями рудников за пределами Франции и был членом административных советов нескольких крупных промышленных предприятий – в их числе завода зеркального стекла в Сен-Гобене.

«Я – стекольник», – любил говорить герцог, напоминая этим, что он посвятил себя одной из тех двух отраслей, заниматься которыми король в свое время разрешил дворянству Лотарингии, а именно – добыче угля и производству стекла. Герцог сам управлял своими владениями, сам вел свои дела; это был решительный, энергичный и трезвый делец, глубоко убежденный в собственном превосходстве над другими, что делало общение с ним малоприятным.

Именно к нему и обратился почтительным тоном молодой человек с прилизанными волосами:

– Господин министр приносит свои извинения в том, что не смог лично присутствовать на похоронах. Он просил меня передать вам его искренние соболезнования.

– Какой министр? – спросил герцог.

– Министр просвещения.

– Соблаговолите поблагодарить его, милостивый государь.

И Валлеруа пожал руку начальнику канцелярии министра с таким видом, с каким человек, облеченный властью, пожимает руку другому человеку, также облеченному властью.

Потом он прошептал на ухо Жан-Ноэлю (даже говоря вполголоса, герцог сохранял резкий, отрывистый тон):

– Лашом прислал своего чиновника. Весьма корректно.

Мимо родственников продефилировали участники «большого турнира», а за ними следовали другие старики и старухи, которые, оплакивая усопшую, оплакивали самих себя; каждый из них счел необходимым прикоснуться своими мокрыми от слез щеками и слюнявыми губами к щеке Жан-Ноэля.

Мари-Анж была в лучшем положении – ее защищал траурный креп. Тетя Изабелла одолжила ей свои шляпу и вуаль.

– У меня так много траурных шляп... – сказала она.

Сама Изабелла стояла рядом с Мари-Анж и казалась глубоко удрученной кончиной госпожи де Ла Моннери.

Инесс Сандоваль сжала ладонями обе руки Жан-Ноэля и прошептала:

– Ты даже не знаешь, какое усилие я сделала над собою ради тебя. Обстановка похорон всегда удручает меня. И зачем только обряжают усопших в эти отвратительные черные одежды...

Жан-Ноэль бросил на нее холодный взгляд и впервые увидел ее такой, какой она была в действительности: сорокапятилетняя женщина с тонкими морщинками на лбу, смуглой, немного сухой кожей, с притворной, хорошо заученной эмоциональностью.

– Я тебя увижу сегодня вечером? – прошептала она еще тише.

– Я тебе позвоню, – ответил он, твердо зная, что не сделает этого.

И Жан-Ноэль чувствовал, как сильно изменилось положение и какое преимущество приобретает человек, когда он перестает любить женщину, а она о том еще не подозревает.

Инесс удалилась своей вальсирующей походкой и вскоре исчезла вместе с профессором Лартуа.

Среди людей, составлявших немногочисленный траурный кортеж, Жан-Ноэль увидел какого-то господина, чье лицо ему было несомненно знакомо, хотя имени его он припомнить не мог. То был уже пожилой мужчина, тщательно следивший за своей внешностью и сохранявший в своем облике что-то юное. Жан-Ноэль спрашивал себя, где и при каких обстоятельствах видел он эту чуть ниспадавшую на лоб волнистую прядь волос, эту чуть неуверенную изящную походку, этот изысканный и вместе с тем строгий элегантный костюм. Когда это было? Давно или недавно?

Пожилый господин с волнистой прядью миновал всех остальных родственников покойницы, остановился перед Жан-Ноэлем и сказал:

– I saw in the papers, this morning...¹⁴

Только в эту минуту Жан-Ноэль понял, что перед ним лорд Пимроуз. Присутствие лорда было для юноши столь неожиданным, столь непредвиденным, что он растерялся и с трудом понимал, что говорит ему англичанин. Выражая соболезнование, лорд Пимроуз стоял склонив голову к плечу, и в его позе сквозила странная скованность и необъяснимое смущение, едва прикрытое учтивостью манер. Но на его лице была отчетливо написана симпатия, искренний интерес и сочувствие. Он дважды поднял глаза на Жан-Ноэля, и тот прочел в них такое дружеское расположение, что был глубоко тронут.

«Как странно, мы виделись всего несколько минут, и он пришел сюда ради меня... Быть может, он решил, что доставит этим удовольствие Инесс?.. Нет-нет, он здесь ради меня. Какой милый и деликатный человек!..» – подумал Жан-Ноэль.

И на минуту ему сделалось стыдно, что он не испытывает настоящего горя, которое оправдало бы присутствие лорда Пимроуза на похоронах и сделало бы его – Жан-Ноэля – достойным внимания знатного англичанина.

И впервые за все утро Жан-Ноэлю самому захотелось подставить щеку для поцелуя. Он испытывал глубокую признательность, почти нежность к этому старику; в то же время какое-то неосознанное удивление парализовало его до такой степени, что он не мог сделать ни одного жеста, не мог выговорить ни слова.

– If ever you feel lonely and you have ten minutes to spend do call me...¹⁵ – проговорил лорд Пимроуз.

Он умолк и внезапно удалился, как будто фраза, которую он только что произнес, была чем-то дерзостным, испугавшим его самого. Жан-Ноэль смотрел ему вслед, мысленно упрекая себя за то, что даже не поблагодарил англичанина.

Когда Пимроуз, окунув пальцы в кропильницу, скрылся затем из виду, Жан-Ноэль и в самом деле почувствовал себя совсем одиноким, и это доброе утомленное лицо показалось ему неким прибежищем: «If ever you feel lonely...»

Церемония на кладбище закончилась очень быстро. У выхода Мари-Анж сняла шляпку, завернула ее и вуаль и, пробормотав извинения, сунула тете Изабелле. Затем вскочила в первое же проезжавшее мимо такси и крикнула шоферу:

– Улица Клемана Моро, дом семь, и побыстрее!

3

На улице Клемана Моро человек полтора ста заполнили большой светло-серый с золотом зал салона Марселя Жермена: они расположились вокруг возвышения, где демонстрировались модели. Выставка осенних мод, устроенная для прессы, как обычно, началась с опоздания. Аристократия швейного ремесла, главные редакторы крупнейших женских журналов

¹⁴ Я прочел сегодня в утренних газетах... (англ.)

¹⁵ Если вы когда-нибудь почувствуете себя одиноким и у вас найдутся десять свободных минут, позвоните мне... (англ.)

занимали всю правую половину первого ряда. Позади них, в точном соответствии с негласной иерархией, разместились журналистки, ведающие отделами мод в парижских и провинциальных газетах, все эти дамы что-то вносили в записные книжки, переплетенные черным молескином.

Тут присутствовали и представительницы американских фирм готового платья, а также небольшое число мужчин – иллюстраторы, художники, театральные декораторы и производители тканей: в этом дамском улье они чувствовали себя как дома.

Ане Брайа восседал среди кумиров в первом ряду, расправив на груди огненно-рыжую бороду, и, сложив руки на толстых коленях, вращал большими пальцами.

Манекенщицы выходили на возвышение с замиравшим от страха сердцем; они старались глядеть на публику с независимым видом, но походка у них была деланая, томность – искусственная, позы – вычурные, а на губах играла вымученная улыбка – совсем как у работающих на трапеции акробатов в конце номера.

Служащая салона называла модели. В прошлом сезоне Марсель Жермен присвоил своим платьям наименования вулканов и гор. На сей раз он решил позаимствовать названия из кондитерской промышленности. Женские туалеты назывались: «Эклер», «Безе», «Миндальное», а платье для новобрачной с английской вышивкой было присвоено пышное наименование «Кладезь любви».

Жермен даже придумал специальный цвет для наступающего сезона – голубой цвет «вечности».

Сам он, одетый в голубовато-серый пиджак с галстуком-бабочкой огненного цвета, щуря выпуклые глаза, то и дело поправлял завитой кок светлых волос и прохаживался по коридору – нервный, взволнованный, встревоженный, – прислушиваясь, не раздадутся ли аплодисменты: точь-в-точь как автор новой пьесы во время генеральной репетиции.

– Ах, дети мои, «Бриошь» определенно не нравится... Да-да, я знаю, что говорю! Это манто нам не удалось, – обращался он к людям из своего ближайшего окружения – модельершам и старшим продавщицам. – Я знал заранее, не следовало даже показывать такую модель... А как матушка? Вы ее видите отсюда? Наверно, пришла в отчаяние? Бедная мамочка...

Госпожа Жермен, мать владельца салона, умудренная опытом женщина с розовым лицом и седыми волосами, сидела среди представительниц американских фирм, расточая всем любезные улыбки и ласковые слова.

Старшие служащие из всех сил старались ободрить патрона, а коммерческий директор фирмы, госпожа Мерлье, особа с красивым античным профилем и гладко зачесанными назад волосами, силилась поддержать в нем мужество.

Однако Жермен продолжал ломать себе руки. Атмосфера становилась все драматичнее. Как всегда, отдельные модели не успели к сроку. Модельер и его главный штаб просидели в ателье до трех часов утра, исправляя детали, а с раннего утра портнихи спешно претворяли в жизнь их последние озарения.

– А где модель «Наполеон»? Ее уже закончили? – спросил Марсель Жермен. – Но послушайте, это ужасно! Что они там делают в мастерской Маргариты? Ведь «Наполеон» – гвоздь выставки. На этом платье все держится. Мерлье, моя дорогая, прошу вас, разберитесь сами, что там происходит.

За последние десять минут он уже посылал третьего гонца за злосчастной моделью.

– Если мы не сможем показать это платье, дети мои, я вам прямо заявляю: нынче же вечером закрою фирму! – воскликнул Жермен. – И все вы окажетесь на мостовой. Сигарету! Дайте же кто-нибудь сигарету! Да нет, не ту, я таких не курю. Куда запропастились мои сигареты?.. Господи, господа, Шанталь, да взгляните же, – простонал он, указывая на манекен-

щицу, проплывшую в большой салон, – она забыла надеть серьги! Нет, уверяю вас, я просто не выдержу!

Именно в эту минуту ему доложили, что в салон приехала мадемуазель Дюаль, которой срочно нужно выбрать туалет для сцены.

– Нет, нет!.. – завопил модельер. – Пусть она придет позже, ну хотя бы завтра. Плевать я хотел на всех актрис из «Комеди Франсез». Сейчас я ни с кем не могу возиться! Ни под каким видом.

Но ему шепнули на ухо еще несколько слов.

– О, только этого еще не хватало! – в отчаянии воскликнул Жермен, ломая руки.

Он кинулся навстречу Симону Лашому, повторяя с угодливой улыбкой:

– Дорогой господин министр, какая честь, какая радость!.. Госпожа Мерлье, госпожа Мерлье, пусть для господина министра тотчас же освободят место в первом ряду возле моей матушки...

– Нет-нет, ни в коем случае, – поспешно сказал Лашом, не желавший показываться публичке. – Я к вам только на минутку и никому не хочу доставлять хлопот.

Лашом был взбешен из-за того, что согласился приехать сюда, не меньше, чем был взбешен Жермен из-за того, что министр пожаловал к нему в столь неподходящую минуту.

«И без того глупо было приезжать со своей любовницей к модному дамскому портному, – думал Симон. – А она еще выбрала именно тот день, когда происходит демонстрация моделей и тут полным-полно журналистов. Миленькие отклики появятся завтра в газетах...»

Пытаясь как-то обосновать свой визит, он подождал, пока Сильвена вошла в один из небольших салонов для примерки, и проговорил:

– Я уже давно хотел побывать в большом салоне мод. А сегодня решил воспользоваться свободной минутой и приехать сюда вместе с мадемуазель Дюаль... Будьте любезны, дорогой, пройдитесь со мной по вашему заведению и объясните, что к чему.

Марселю Жермену показалось, что он сейчас упадет в обморок. Вернее, ему хотелось и в самом деле потерять сознание: это избавило бы его от непрошеного гостя. Но так или иначе, пришлось покориться.

– Где у вас помещаются студии?.. Где работают ваши художники, сколько у вас занято людей? – спрашивал Лашом.

Профессиональная привычка делала свое. Он двигался и разговаривал так же, как двигался и разговаривал на открытии какого-нибудь общественного здания.

Жермен тщательно напрягал слух в надежде уловить отзвуки аплодисментов из большого салона и, открывая перед министром одну дверь за другой, давал короткие пояснения.

– А ваши мастерские? Сколько портных работает в каждой? А что это такое? – с удивлением спросил министр, указывая на несколько десятков обтянутых холстом манекенов, нагроможденных в углу какой-то комнаты.

– Это манекены специально для некоторых моих постоянных клиенток, – ответил Жермен. – Пользуясь этими манекенами, я могу шить платья, даже если у этих дам нет времени для примерки или если они находятся за границей...

– О, весьма любопытно, – проронил Симон, подходя ближе.

На животе каждого манекена висел ярлык, на котором чернильным карандашом было начертано имя клиентки. Симон Лашом прочел несколько знакомых фамилий: герцогиня де Валлеруа, леди Кокерэм, мадам Буатель, сеньора Давилар, мадам Бонфуа... Рядом с тощей фигурой старой герцогини де Сальвимонте особенно бросались в глаза мощные формы миссис Уормс-Парнелл... Какое странное кладбище, братская могила роскоши...

Самые богатые, самые прославленные женщины выстроились тут одна возле другой – вернее, их статуи без рук и без головы, изготовленные из конского волоса и холста со всеми своими телесными недостатками. Чересчур узкие или чересчур массивные плечи, некрасивая

грудь, слишком расплывшаяся талия или костлявые бока – все это делало манекены похожими на забракованные скульптором работы. Некоторых из этих женщин Симон видел обнаженными, и теперь он забавлялся, сопоставляя свои воспоминания с их манекенами.

«Постой-ка, – говорил он себе, – вот чуть выпяченный живот Марты... А там искривленное бедро Инесс...»

– Да, вот как они сложены! А я их преображаю, – произнес Марсель Жермен. – Каждый день вы можете убедиться в этом. Над туалетами этих дам у меня трудятся восемьсот мастериц.

В коридор выходили двери многочисленных мастерских, выкрашенных тусклой клеевой краской, как школьные классы. И в каждой мастерской копошились сорок женщин в халатах, напоминая издали серых креветок, попавших в сети; эти женщины, которые шили самые дорогие платья в мире, по вечерам, отправляясь к себе домой, в предместья столицы, натягивали поверх комбинаций из искусственного шелка старенькие вязаные свитера и поношенные юбки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.